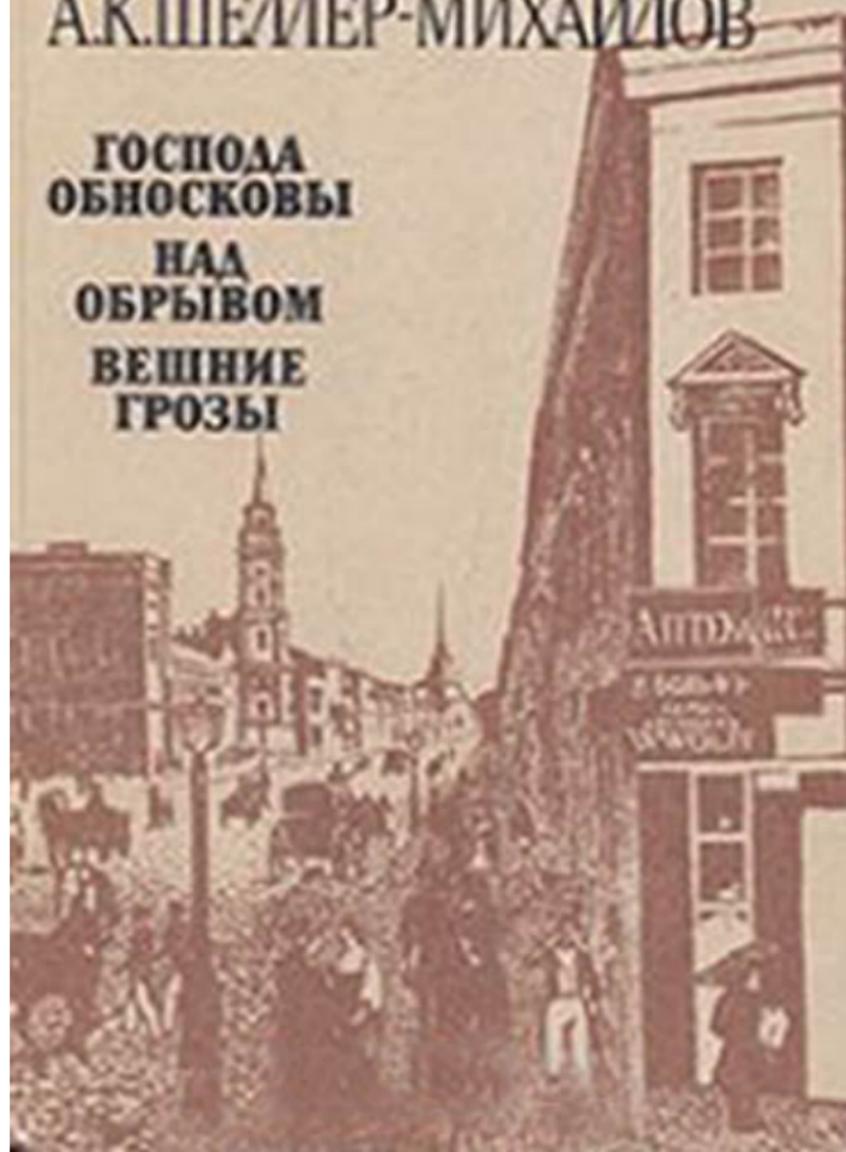


А.К.ШЕЛЕР-МИХАЙЛОВ

ГОСПОДА
ОБНОСКОВЫ
НАД
ОБРЫВОМ
ВЕШНИЕ
ГРОЗЫ



Александр Константинович Шеллер- Михайлов

Над обрывом

Русский писатель-демократ А.К. Шеллер-Михайлов — автор злободневных и популярных в 60-80-х годах прошлого века романов.

Прямая критика паразитирующего дворянства, ничемной, прожигающей жизнь молодежи, искреннее сочувствие труженику-разночинцу, пафос общественного служения присущи его романам «Господа Обносковы», «Над обрывом» и рассказу «Вешние грозы».

Содержание

Первая глава	0006
I	0006
II	0019
III	0032
Вторая глава	0042
I	0042
II	0055
III	0078
IV	0094
Третья глава	0104
I	0104
II	0118
III	0139
Четвертая глава	0158
I	0158
II	0169
III	0183
Пятая глава	0192
I	0192
II	0205
III	0226
Шестая глава	0239
I	0239
II	0254
III	0271

Шестая глава0284
I0284
II0299
Седьмая глава0316
Восьмая глава0367
I0367
II0378
III0383
IV0388
Девятая глава0396
I0396
II0408
III0416
Десятая глава0424
I0424
II0430
III0439
ПРИМЕЧАНИЯ0457

А. К. Шеллер-Михайлов
Над обрывом

Первая глава

I

У мухортовских господ ожидали приезда молодого барина. Этот торжественный случай с самого раннего утра поднял на ноги всю дворню в помещичьем доме. Более всего суеты замечалось в правом боковом флигеле, где должен был поселиться на месяц молодой барин. Здесь переставлялась с места на место мебель, обметалась со всего пыль, протирались стекла. В сущности, приготовления были вовсе не сложны, так как в доме уже с месяц жила сама госпожа Мухортова, мать молодого барина, и все было давно уже приведено в порядок. Дворня, по-видимому, просто придралась к случаю, чтоб выказать свое рвение и поразмяться, так как месяц, проведенный в деревне, был месяцем отдыха как для самой госпожи Мухортовой, так и для ее верных слуг; а их у нее было немало. Софья Петровна Мухортова, вдова заслуженного генерала, урожденная княжна Щербина-Щедров-

ская, была старою барынею, сохранившею все привычки провинциального барства и, прежде всего, привычку окружать себя целою ордою толкавшегося в людских, слонявшегося по парадным комнатам и почти ничем не занятого народа. Теперь весь этот народ толпился во флигеле с озабоченными физиономиями, передвигая по десяти раз одну и ту же вещь, стирая по десяти раз пыль с одного и того же места.

Во всей этой ненужной возне не принимала участия только одна молоденькая девушка с гладко зачесанными густыми русыми волосами, с длинными загнутыми вверх ресницами, с правильными чертами чисто русского лица. Она сидела у открытого окна, склонившись над пяльцами, и, по-видимому, усердно вышивала. Но, наблюдая за ней, можно было заметить, что она то и дело взглядывала в окно и, сощуривая свои большие голубые глаза, всматривалась вдаль; из окна, выходявшего на двор, была видна железная решетка с такими же воротами, а за нею тянулась лента большой дороги, теперь вся залитая светом полуденного солнца. На дворе стояла знойная

весна.

— Что это ты, Полинька, уж не хочешь ли первая Егору Александровичу на шею броситься, что от дороги-то глаз не отводишь? — неожиданно раздался в комнате резкий и визгливый голос.

Молоденькая девушка вздрогнула от неожиданности и повернула лицо к заговорившей с нею особе.

Это была высохшая, желтая, морщинистая женщина лет сорока пяти с ввалившеюся грудью и жиловатою длинною шеей. Она была одета немного пестро, с претензиями на моду, с множеством бантиков из полинялых лент. Ее жиденькие волосы были сильно взбиты и лежали на низеньком лбу затейливыми фестонами над нарисованными бровями.

— С чего вы это взяли, Агафья Прохоровна? — спросила ее молодая девушка.

— Да как же? Вышивать осталась на галдарее, а сама все на дорогу смотришь, не едет ли наш сокол? — ядовито продолжала Агафья Прохоровна. — Я тут целый час сижусь, да к тебе присматриваюсь, просто одурь взяла... Только уж смотри не смотри, а толку мало: не

попасть вороне в высокие хоромы. Побаловать он с тобою побалует, а уж жениться-то на холопке не женится.

У молодой девушки щеки покрылись еще более ярким румянцем, и на глаза навернулись слезы.

— Бог вас знает, что вы такое говорите, — тихо, подавленным голосом сказала она и со вздохом снова принялась за вышиванье.

Старая дева ядовито засмеялась.

— Скажите! Не знает, что говорят! Невинность в мешочке!..

Она как-то фыркнула со злобой в сторону и торопливо принялась за прерванное на минуту вязанье шерстяного платка. В комнатке с минуту слышалось только щелканье деревянных вязательных спиц.

— Носы-то вы все очень уж задрали, — продолжала спустя минуту старая дева, с озлоблением перебирая вязательными спицами. — Насели на Софью Петровну всей родней и думаете, что и Мухортово ваше, и вы сами мухортовские господа. Погодите еще, голубчики, рано распетушились... Может быть, еще самим по шапке дадут... И хорошо сдела-

ют! А то от вас благородным людям житья нет... Как собаки, прости господи, проходу не даете... Гришка уж на что щенок, еще драть надо его, а туда же! Давеча иду искупаться и слышу, как он говорит кучеру Дорофею: «В холодной воде, дяденька, поди не отмоешь такую шкуру, в щелоку бы надо...». Тьфу! Побежала к Софье Петровне жаловаться, а тут твоя тетушка, Елена Никитишна почтеннейшая, и ну хохотать... Дура старая, право, дура... Что она меня выжить, что ли, отсюда хочет? Так я и сама уеду, когда вздумаю... Я не дворовая здесь, я в гости приехала, потому что мне жаль Софью Петровну... одна она здесь! Не с вами же ей компанию водить, не господа еще...

В эту минуту раздался стук копыт и колес. Поля быстро вскочила с места и двинулась к окну, невольно прижав руку к сильно забившемуся сердцу. Старая дева заметила это движение.

— Беги, беги, бросься на шею! — визгливым, насмешливым тоном проговорила она.

Поля сконфуженно, бессильно опустилась на стул.

— Что, видно, силы-то нет?.. Эх ты! Говорю я тебе, что ни за грош пропадешь, — продолжала Агафья Прохоровна и, придвинув стул поближе к молодой девушке, более мягко прибавила: — Я тебе же добра желаю. Знаю я этих господ. Поиграют с вашей сестрой и бросят. Что хорошего-то? Теперь не прежние времена, когда вашу сестру за своих же дворовых с брюхом замуж выдавали, и все такое...

Она наклонилась к девушке, и ее лицо приняло заискивающее выражение.

— Ты мне скажи, голубка, что? как у вас там? Зашло-то далеко?

— Оставьте вы меня в покое! — болезненно вздохнула девушка. — Вам-то что за дело? Разузнать все хочется, чтоб по всей губернии потом сплетничать.

— Скажите пожалуйста! Сплетничать! — воскликнула Агафья Прохоровна с раздражением. — Да чего же мне больше знать, чем я знаю. Захочу и стану везде рассказывать. Ан-тересу-то только мало в вас... Ваш же щенок Гришка сказывал, что видел в замочную скважину, как ты с Егор Александровичем целовалась...

— Врете вы! — крикнула потерявшая всякое терпение девушка.

— Не я вру, а Гришка врет... да еще бабушка надвое сказала, врет ли...

— Низкая вы душа, вот вы что!

— Ах, боже мой, какая сердитая, да не страшная! Ты-то, простая душа, барской любовницей хочешь быть... И то сказать, мать твоя тоже беременною от барина была, когда за твоего отца, за Прокофья-то, ее выдали... Через шесть месяцев и ты родилась... Барская родня вы все... Хамы...

Потом, взглянув с презрением и злобой на молодую девушку, она прибавила:

— А вот если бы ты не грубила, когда благородные люди с тобой разговаривают, так я бы тебе сказала, что мне Софья Петровна говорила насчет своих прожектов женить своего Егора Александровича.

— Женить! — воскликнула с испугом Поля.

— Да-с, женить!.. И невеста уж есть... Не ты, не ты, голубушка!.. Говорить-то только я с тобой теперь не желаю, после твоих грубостей... На край света от вас уехала бы...

Старая дева свернула свое вязанье, вздер-

нула высоко голову и с гордым видом зашагала к выходу. Молодая девушка, опустив на колени руки, замерла на месте, Агафья Прохорова направилась к левому флигелю, носившему у Елены Никитишны, мухортовской домоправительницы, название «странноприимного покоя». Когда в деревню приезжала генеральша Мухортова, к ней тотчас же собирались разные приживалки и странницы. Кормить этот люд, потешаться над ним, выслушивать всякие деревенские сплетни, это было одной из слабостей Софьи Петровны. Войдя в среднюю комнату странноприимного покоя, Агафья Прохорова прошла на маленькую террасу, выходящую в глухую боковую часть сада, охватывавшего барский дом с трех сторон. Здесь на ступенях сидела опустившаяся и обрюзгшая пожилая женщина, вся в черном, с головой, покрытой, несмотря на полуденный зной, большим шерстяным черным платком. Услыхав за собою шаги, женщина тяжело и глубоко вздохнула, сжав в трубочку толстые губы и подняв вверх заплывшие жиром глаза. Ее лицо вдруг приняло, на всякий случай, набожное выражение, точно она мо-

лилась в душе.

— Что вздыхаешь, мать Софрония? — небрежно спросила Агафья Прохоровна, присаживаясь тоже на ступеньку.

— О мире, мать моя, о мире сокрушаюсь, — отозвалась мать Софрония, снова тяжело вздыхая.

— Да, уж нечего сказать, нынче свет! — раздражительно проговорила Агафья Прохоровна. — Не смотрела бы на людей!

Она помолчала с минуту.

— Сегодня меня с самой ранней зари на черта посадили! — со злобой отрывисто произнесла она. — Только проснулась, Гришка дерзостей наделал... таких, таких, что и теперь всю мутит!.. Без порток в его годы-то еще мальчишки ходят, а он туда же, дерзости! Пошла жаловаться Софье Петровне, так Елена Никитишна меня же вышутила! Шутиха я им досталась!.. Потом пошла посмотреть флигелек Егора Александровича, как там всё и прочее, а Прокофий, старый хрен, вдруг мне и выпалил: «Вам тут не место: молодой барин еще приедет, да увидит, так рассердится: приживалок-то да салоппниц, сами знаете, он не жа-

лует!» Это я-то приживалка, я-то черносалопница! И тоже точно королевича какого ждут, возню подняли, все скребут и моют. В трубу все выпустят, тогда и в грязи еще находятся! Невеста-то еще пойдет за него либо нет, а без женитьбы... долгу-то тоже больше, чем волос на голове. А тоже не всякая пойдет, видя, как дом-то весь хамы в свои руки захватили, да что он и сам с хамкою связался... А еще ученый, философ!..

— Ох, грехи, грехи! — с набожным вздохом проговорила Софрония. — Правда уж, что хамы всем правят. Не угоден им — и Софье Петровне не мил будешь...

— Уж чего! По их дудке пляшет! — произнесла Агафья Прохоровна с презрением. — И ты посмотри, сколько их, и все одна семья. Ты посчитай: губернаторша мухортовская, Елена Никитишна, — раз, потом двоюродный ее братец, Прокофий, дворецкий, — два, принцесса его доченька, Пелагея Прокофьевна, — три, Гришка щенок, крестник Елены Никитишны, — четыре, Дорофей, кучер, тоже свояким, — это пять, да почитай что все — и Митюшка-повар, и Глашка-горничная, и Ан-

на-скотница, да все, все роденька Елены Никитишны... Вот уж истинно саранча насила... Только вот не знаю, кто теперь при Егоре Александровиче камердинером состоит. Кажется, у них некого было из своих-то к нему приткнуть...

Она вдруг что-то вспомнила и засмеялась.

— Впрочем, и то сказать, между собою родня, да и Мухортовым не чужие. Елена-то Никитишна, известно, — дедушкин грех, мухортовская кровь. Ну, и Прокофий-то, говорят, когда еще в казачках состоял, старой барыне уж больно потрафить умел, а потом жену взял на третьем месяце беременную. Пелагея-то тоже ведь барского рода... Только таким-то... вот у нас поп такой-то дочери вдовой солдатки имя Епистимьи дал. Солдатка взвыла, а он и говорит: «Какие же имена я после того законным детям буду давать? Твоя незаконная, пусть Епистимьей и будет». Так ее и зовут теперь Епистимья да Епистимья... Другого и прозвища нет... — Уж что говорить! Известно, по грехам и наказание, — сонливо согласилась Софрония.

— А наши хамы думают и точно, что они

мухортовские сродственники, — продолжала горячиться Агафья Прохоровна. — А таких-то сродственников ради одного стыда держать бы в доме не следовало! И ведь как забрали в руки Софью Петровну! Так ею и вертят, так и вертят... До чего только дойдет: как крепостные-то были, так можно было эту орду содержать да ублажать, а теперь капиталы-то подбираться что-то стали, именье-то заложено-перезаложено... Тоже ведь Елены Никитишны братец управлял, охулки на руку не положил, теперь только за прекращением живота вакансию оставил... Кого-то выберут в управители... Да, уж нечего сказать, в разор разорили господ. Только разве женитьбой и поправятся...

В это время послышалось легкое сопенье с присвистом. Агафья Прохоровна, круто обрвав речь, взглянула на свою собеседницу: та сладко спала, медленно кивая головой. Агафья Прохоровна с досадой сплюнула и шумно поднялась с места. Софрония проснулась и, сладко зевая, спросила:

— Что, али завтракать звали?

— Ну, да, так тебя и позовут сегодня зав-

тракать. Принц-то, Егор-то Александрович, нашу сестру не любит! — досадливо сказала Агафья Прохоровна.

— Так как же? — растерянно спросила Софрония.

— А вот погоди, поклоняйся Елене Никитишне, чтоб соблаговолила что-нибудь дать...

В эту минуту в комнате послышались шумные шаги, и что-то сильно зазвенело. Обе женщины обернулись разом.

В комнату вошел мальчуган лет двенадцати с подносом. Он почти бросил поднос на стол и, обращаясь к обеим женщинам, резко и грубо сказал:

— Есть принес!

И тотчас же повернулся к ним спиною и вышел.

— А, каков подлец Гришка!.. Есть принес!.. Точно псам каким, прости господи, — воскликнула Агафья Прохоровна, отплеываясь.

— Первые будут последними, а последние первыми, сказал господь наш, — с покорным вздохом произнесла Софрония. — Что ж, пойдем, мать, закусим, а там и соснуть можно до обеда...

— Эх тебя развезло, походя спишь! — сказала Агафья Прохоровна.

— Ночь-то молишься, устанешь тоже, — ответила, позевывая, Софрония.

— Молишься! — проворчала Агафья Прохоровна, враждебно посматривая на нее, точно хотела сказать: «Знаю я, как ты молишься, за десять комнат храп слышен!»

II

В это время в столовой, отделанной дубом и уставленной цветами, уже сидели за завтраком Мухортовы: сама Софья Петровна, очень красивая, видная, хотя уже значительно обрюзгшая женщина лет пятидесяти; ее сын, Егор Александрович, молоденький гвардейский офицер, с тонкими чертами лица, с темно-серыми глазами, с вьющимися темно-русыми волосами, с едва пробивавшимся на верхней губе пушком, и брат ее покойного мужа, Алексей Иванович Мухортов, бывший военный, а теперь агроном и земец, тучный весельчак, переваливший за пятый десяток. На Софье Петровне было шелковое платье цвета сурового полотна; оно было сшито по

последней моде и щедро отделано шелковыми плетеными кружевами под цвет материи; из-под длинного шлейфа с широкими плиссе виднелись густо собранные, ослепительно белые кружева; на гладко, но не без искусства причесанных, сильно уже поседевших волосах, сверх широко заплетенной косы, была накинута косынка из кружев того же цвета, как платье и его отделка; длинные лопасти косынки, спускавшиеся за ушами, ниспадали на грудь и здесь, связанные крупным бантом, были приколоты изящной брошью, изображавшей пучок колосьев с брильянтами вместо зерен. На Егоре Александровиче был надет щеголеватый белый китель, замечательно ловко охватывавший стройную фигуру молодого гвардейца. Щеголеватость и изящество проглядывало здесь во всем: в наряде хозяев, в украшениях столовой, в сервировке стола, даже в одежде прислуживавшего за столом Прокофья, серьезного и почтенного на вид старика, в белом галстуке, в белых перчатках и в черном фраке, и в одежде Елены Никитишны, приготавливавшей на спирту кофе в серебряном кофейнике, одетой в коричневые

вое шерстяное платье с такой же пелеринкой и в белом чепчике с коричневыми, шелковыми завязками; ее полную и белую шею охватывал гладкий, белый воротничок, а из-за таких же гладких белых манжет выставлялись выхоленные, мягкие и белые руки. Полную противоположность с этим изяществом, щеголеватостью и степенною сдержанностью представлял только Алексей Иванович Мухортов: это был коротконогий, короткошей, короткорукый, крайне подвижный толстяк в коротких серых панталонах, вытянутых на коленях и измятых под коленями, и в таком же пиджаке или, как выражается он сам, балахоне, залитом на груди жиром, капавшим во время обедов и завтраков с длинных усов совершенно лысого, вечно жестикулировавшего, вечно покрытого потом, вечно лоснящегося старика.

— Я тебе очень благодарна, Алексис, — говорила протяжно и немного нараспев Софья Петровна, — что ты тотчас приехал...

— А ты думала, что я приеду, когда светопреставление будет? — ответил Алексей Иванович, засмеявшись жирным, утробным сме-

хом, всколыхавшим его живот. — Дела, так их надо делать скорей...

— О, эти противные дела! — с томным вздохом проговорила Софья Петровна и подняла глаза к потолку.

— Да, как сажа бела, — по-русски заметил Алексей Иванович, махнув рукою.

Разговор велся на французском языке, заметно стеснявшем Алексея Ивановича. Софья Петровна усмехнулась и укоризненно покачала головой.

— Ты неисправим, Алексис, — заметила она.

— Что ж, матушка, что правда, то правда! — сказал толстяк, разводя руками.

— Знаю, что правда, — со вздохом сказала генеральша, — но зачем же людям знать...

— Да, дядя, — вмешался в разговор Егор Александрович, — неужели действительно дела наши уж так безнадежны?..

— Ах ты, фертик! — проговорил по-русски Алексей Иванович и, увидав молящий взгляд Софьи Петровны, расхохотался и сплюнул.

Генеральша укоризненно покачала головой.

— Неужели так безнадежны, — передразнил дядя племянника, заговорив опять по-французски. — А ты думал, что ты с матушкой мотать будешь, а дела будут все улучшаться? Нет, брат, нынче не такие времена. Нынче хочешь жить — умей работать, да так работать... Вот ты посмотри...

Толстяк протянул к племяннику свои руки.

— Когда молотилки рабочие назло мне стали ломать, — этими руками я и молотил, и двум рабочим скулы свернул, — пояснил Алексей Иванович, снова прожорливо принимаясь за еду, заткнув за воротник рубашки угол упавшей на его колени салфетки.

По лицу племянника скользнула брезгливая усмешка. Софья Петровна вздохнула.

— Но ведь это только хозяйственные занятия, — продолжал толстяк, — а на мне еще сколько общественных обязанностей лежит. Ты посчитай: я член земской управы, я и за школами слежу, я и опекун в соседнем имении, над детьми Борисоглебских, я и почетным мировым судьей был, я и в банке губернском принимаю участие, я и подряд взял на

поставку дров на железную дорогу.

Исчисляя свои обязанности, толстяк, отложив нож и вилку, поднял руки и стал загибать свои жирные пальцы один за другим, так что, в конце концов, против племянника были подняты два широкие здоровенные кулака.

— Ах ты, американец! — рассмеявшись, проговорил племянник.

— Да, будешь американцем, когда людей — раз-два, да и обчелся, — сказал толстяк, опять порывисто принимаясь за еду. — Вы вот там, в Питере, в канцеляриях сидите, на парадах журавлиным шагом выступаете, а есть-то вам, поди, нужно приготовить?.. Мы вот здесь и работай, чтоб на всех вас хлеба хватало, чтоб мужики подать вносили вам на жалованье. Не работай мы здесь, у всех у вас дела-то безнадежны бы стали.

Алексей Иванович говорил по-французски не бойко и поминутно прорывался русскими фразами. Это заметно беспокоило Софью Петровну, и она, наконец, сказала:

— Пойдемте пить кофе на террасу, там можно свободнее говорить...

Все встали и пошли на большую террасу, где среди цветущих растений стояла мягкая и удобная мебель. Прокофий принес кофе и оставил господ одних.

— Ну, теперь, Алексис, ты можешь не стесняться, — сказала Софья Петровна с добродушной и снисходительной усмешкой.

— Да я, матушка, и там не стеснялся, — наивно ответил Алексей Иванович. — Или ты думаешь, что твои люди не знают лучше тебя твоих дел? Слава богу, до нынешней весны твоей же Елены Никитишны братец делами твоими под моим присмотром управлял. То же, бывало, придет и чуть не ревет дурак: «Как же, говорит, закладывали имение, чтобы машины купить, чтобы постройки сделать, а ухлопали все на балы да на домашние спектакли!..» Как же, матушка, твоей-то челяди не знать твоих дел, на глазах у всех мотали...

— Алексис, пощади! — ведь мне двух дочерей надо было выдать, — с упреком сказала Мухортова.

— Так и надо было для этого мотать? Может быть, они бы скорее вышли замуж, если бы имение-то было в порядке...

Егор Александрович, откинувшись удобно на мягком кресле, подравнивал в это время крошечным ножом свои красивые ногти. Приподняв немного голову и устремив тревожный взгляд на дядю, он спросил:

— Так что же теперь придется делать, если дела в таком состоянии?

— Поселиться здесь придется, работать, да прежде всего вот это вышвырнуть вон, — ответил Алексей Иванович, проводя рукой в воздухе.

— Что это?

— А вот эти все камелии, азалии, рододендроны... Тьфу! и не выговоришь даже!.. Теперь не оранжереи, не парники, не теплицы нужны, а хлеб да капуста...

Софья Петровна презрительно усмехнулась.

— Ты говорил еще о другом исходе, — заметила она. — Я говорила об этом Жоржу...

— Ах да, женитьба на Протасовой! — в один голос воскликнули дядя и племянник.

— Что ж, это дело! — сказал дядя.

— Я ее почти не знаю, — раздражительно заметил племянник.

— Ты же играл с нею в детстве, потом ты ее видал у Барб, Жорж, когда Протасовы приезжали в Петербург, — сказала мать. — Протасов, правда, из купцов вышел в люди...

— Ошибаешься, матушка, просто из сиволапых мужиков, — поправил дядя.

— Но она очень милая особа, образованна, богата, — продолжала генеральша, как бы пропустив мимо ушей замечание Алексея Ивановича.

— Ты напрасно перечисляешь ее достоинства, я все равно могу жениться только по расчету, — холодно сказал сын. — Ты знаешь, что моя сердечная привязанность уже помещена в другие...

— Жорж! — с укоризною воскликнула мать. — Я тебя просила не говорить об этом! Я этого не знаю, не вижу, не хочу видеть! Зачем ты хочешь мучить меня?

Она в волнении обратилась к Алексею Ивановичу и начала жалующимся тоном будирующей институтки:

— Ну, рассуди сам, Алексис, зачем мне знать все эти пошлости и шалости? Мало ли их у каждого из вас, противных мужчин?

— Сюжетка какая-нибудь завелась? — спросил Алексей Иванович.

— Ах, нет, — с тяжелым вздохом сказала генеральша. — Хуже! Я очень, очень недовольна Жоржем в этом случае... Уж если начали говорить, то надо говорить все... Видишь ли, мы изволили соблазнить Полину...

— Какую Полину? — спросил Алексей Иванович.

— Ты помнишь, дочь Прокофия. Ты ее видел... Я любила и люблю эту девушку, как родную. Сажала ее в классную, когда студент учил моих Барб и Зизи. Думала пристроить за какого-нибудь чиновника. Ведь дядя Жак мог бы найти в своем министерстве такого чиновника. Приказал бы там кому-нибудь... И вдруг слышу, что Жорж изволит дурачиться с нею...

Софья Петровна говорила теперь таким тоном, как будто жаловалась маленькая девочка на то, что ее обидели.

— Что же, жениться намеревался? — спросил со смехом Алексей Иванович...

Егор Александрович вспыхнул.

— Тут шутки вовсе неуместны! — прогово-

рил он. — Люди в моем положении на горничных не женятся. Но я нисколько не скрываю, что я ее очень люблю...

— И соблазнил ее обещаниями жениться? — спросил дядя.

В глазах молодого человека сверкнул недобрый огонек. Генеральша пожала плечами.

— Она вовсе на это и не рассчитывала сама... Да и никто об этом не думает... но мне неприятно, что это в моем доме.

— Ну, не новость... Это только свидетельствует, что Егорушка по дедушке пошел, — сказал Алексей Иванович.

Мухортова вздохнула и покачала головой с упреком.

— Ты, Алексис, смотришь на все ужасно легко. Тогда были другие времена, другие нравы. Тогда на это никто не обращал внимания. Теперь дело другое. Я ужасно, ужасно опечалена этой историей...

— Выдать ее замуж, вот и все, — решил толстяк.

— Она ни за кого не пойдет, — решительно заметил Егор Александрович, не отрывая глаз

от подчищаемых им ногтей.

— Пойдет! — сказал дядя не менее решительно. — Да это пустяки. Нужно прежде всего самому на что-нибудь решиться, иначе ведь по миру придется идти. Теперь вам нужно ухлопать не один десяток тысяч, чтоб выкупить имение и привести в порядок хозяйство, а эти деньги на земле не валяются. Протасов будет рад отдать за тебя дочь...

— Я думаю! — сорвалось с языка Егора Александровича презрительное восклицание.

— Ну, ты о себе-то много не мечтай! — сказал Алексей Иванович. — Таких-то женихов много, смазливых голышей, но не у всех есть дяди Жаки, министры. Вот что важно для Протасова. Он банки устраивает, он подрядов ищет. Потому-то ты для него и находка. Ему все равно на взятки нужно ухлопать десятки тысяч, так лучше их зятю отдать и через него заручиться протекциями.

Генеральша не то с скучающим, не то с брезгливым выражением проговорила:

— Барышники вы здесь какие-то!

— Ну да, а вам бы только готовые пенки со всего снимать! — ответил Алексей Ивано-

вич. — Впрочем, дело не в том. А вы скажите, когда мне к вам Протасовых привезти? Нужно ковать железо, пока горячо. Закинет Протасов удочку в министерстве, дав взятку, тогда вы на кой черт?

Генеральша нетерпеливо передернула плечами.

— Я думаю, самое лучшее зазвать к нам девочку с одной из ее теток послезавтра на обед. Вы тоже приедете. Ты-то, впрочем, уже видаешься с ними?..

Мухортова утвердительно кивнула головой.

— Ну, и отлично. Надо только вот его свести с барышней поближе... Устрою обед, приглашу их, вы приедете и начнем варить кашу.

Егор Александрович горько усмехнулся.

— Не худо бы и меня спросить, — заметил он.

— Чисти, Егорушка, ногти, а уж дело-то мы будем делать, — ответил Алексей Иванович, похлопывая его по плечу. — Кушать тебе надо, да и вкусы-то у тебя, поди, изысканные... Чистое это божеское наказание, когда денег в кармане нет... Я вон, как вол, стал работать

ради этих вкусов...

III

День приезда молодого барина был тревожным днем в мухортовском доме. С утра пришлось все мыть и чистить, потом был завтрак, к обеду приехали жена, сын и дочери Алексея Ивановича и только часов в девять все смолкло. Гости разъехались, генеральша удалилась на свою половину. В деревне она обыкновенно ложилась очень рано: ляжет в постель, призовет кого-нибудь из приживалок, побеседует с ними, пока Елена Никитишна убирает ее платья, потом милостиво отпустит словоохотливых женщин, возьмет французский роман и в тишине, при мягком свете лампы, укрывшись розовым шелковым одеялом, вся в кружевах, читает далеко за полночь, уносясь воображением то в Париж, то в Лондон, то в девственные леса Америки. Где-где она ни побывает в иную ночь и каких приключений ни насмотрится. Иногда ужас охватывает ее, когда она вместе с героями романа попадает в руки злодеев; порою льются из ее глаз горячие слезы, когда страдает угне-

тенная невинность; подчас же всю ее охватывает такое сладостное чувство, когда романтический он хватает романтическую ее в свои объятия, впивается в ее уста своими страстными устами и влечет ее в укрытый от любопытных взоров уголок, — и кажется ей, генеральше Мухортовой, при виде таинственных точек в романе, что она сама еще может увлечься, что в ней еще не все угасло...

На этот раз она тоже позвала к себе и мать Софронию, и Агафью Прохоровну.

— Я вас, мои милые, сегодня почти и не видала, — мягко сказала она. — Уж извините, день такой выдался. В родственном кругу нужно было о многом поговорить...

— Ах, что вы, благодетельница, извиняетесь! — воскликнула Агафья Прохоровна и бросилась целовать в плечо генеральшу.

Софрония поцеловала ее в другое плечо.

— Кормили ли вас? — участливо спросила генеральша.

— Всем довольны, ваше превосходительство, мать наша, — униженным тоном сказала Софрония. — Елена Никитишна, дай ей бог здоровья, всего наслала...

— На Егора Александровича-то только и глазком не удалось взглянуть, — заметила Агафья Прохоровна сладеньким голосом. — Я думаю, совсем жених, как есть...

— Еще бы! — сказала генеральша.

— Вот погоди, Агафья Прохоровна, увидит, опять «крысиным хвостом» станет звать, — со смехом сказала Елена Никитишна.

— Пусть их тешатся, — ответила Агафья Прохоровна слегка зашипевшим голосом. — Тоже шутник был ребеночек... Да ведь это от радости душевной, а не от злобы, как иной хам, не здесь будь сказано, издевается....

И, сделав совсем ехидное лицо, она прибирила:

— Вот женить бы здесь Егора Александровича! Хоть одним глазком взглянула бы на свадьбу.

Елена Никитишна, прибирая последние вещицы, еще разбросанные на туалете, насмешливо заметила:

— Сватать невесту, верно, хочешь?

— Отчего ж и не посватать? — ответила Агафья Прохоровна. — Вот денисьевские бабышники — краля к крале и отец в генералах

состоит. Тоже львовская барышня из себя субтильная...

— Ах, что это за невесты! — со вздохом сказала Мухортова.

Агафья Прохоровна назвала еще несколько фамилий соседних помещиков, но ее зоркие глаза тотчас угадали, что не этих девушек прочат в невесты. Она терялась в догадках. Кого же, если не их? В окрестностях, кажется, больше и девиц не было.

— Ну, покойной ночи! — сказала Мухортова. — Устала я сегодня!

— Как не устать, как не устать, благодетельница! — сказала Агафья Прохоровна.

— Шутки ли, как за день-то умаешься;- заметила, в свою очередь, Софрония, незаметно зевая в руку.

Обе женщины прикоснулись губами к плечам генеральши и на цыпочках вышли из комнаты. Генеральша, отпустив и Елену Никитишну, взялась за роман.

— Теперь и соснуть можно, — сказала Софрония, направляясь в боковой флигель.

— Ах, нет! Вечер такой благодатный, что и спать не хочется, — ответила Агафья Прохо-

ровна. — Я еще помечтать пойду в сад. Страсть как я люблю мечтать в эту пору...

Они прошли в «странноприимный покой». Агафья Прохоровна отворила дверь на балкон.

— Вон луна светит, звезды мерцают, аромат плывет, — проговорила она певучим голосом, — и не спала бы я, кажется, до бела дня в такие ночи... Молодости, чувств этих самых во мне много...

Она широко вдохнула воздух, закатив ввалившиеся и поблекшие глаза. Вечер действительно замечательно хорош: тихий, теплый и ясный, он манил на воздух. Сад был весь в цвету: все было пропитано ароматом. Легкой и неслышной поступью крадущейся кошки сошла Агафья Прохоровна в сад, обогнула барский дом и незаметно очутилась против правого бокового флигеля, где помещался Егор Александрович.

Во флигеле была освещена только одна комната — спальня молодого Мухортова. Из этой комнаты так же, как и в «странноприимном покое», вела дверь на террасу. Только здесь терраса была густо уставлена цветами.

Шторы в комнате еще не были спущены, и Агафья Прохоровна могла видеть, как молодой Мухортов, с папиросой в зубах, ходил взад и вперед по комнате. Прошло несколько минут. Послышались чьи-то мелкие шаги в саду. Агафья Прохоровна притаилась за деревом. Вдоль стены флигеля скользнула чья-то тень. Агафья Прохоровна увидела фигуру женщины, поднимающейся по ступеням террасы. Раздался легкий стук в дверь. Мухортов быстро подошел к двери, отпер ее и, вскрикнув от неожиданности, сжал в своих объятиях Полю.

— Голубчик, истомилась я... весь день не видала вас! — раздался шепот Поли, прижавшейся к его груди.

— Ах, бесстыдница, бесстыдница! Сама к нему ходит! — мысленно вскричала в волнении Агафья Прохоровна.

— Пойдем в комнату, здесь может кто-нибудь застать, — сказал Егор Александрович.

— Пусть!.. Мне-то что? Никого я не боюсь... Все и так знают... Да и пусть знают, — говорила Поля.

Она опять прижалась губами к его лицу;

он тихо ввел ее в комнату. Агафья Прохорова на чуть не ползком стала пробираться к окну. В эту же минуту перед ее лицом стала постепенно опускаться штора. Агафья Прохорова торопливо стала подкрадываться к другому окну. Но и тут тоже опустилась штора, а вслед за нею упали тяжелые портьеры у дверей.

— Ах, срамница! Ах, срамница! — озлобленно твердила старая дева, хлопотливо и нестерпимо отыскивая хоть какой-нибудь щелки.

Заглянуть в комнату не было никакой возможности. Агафья Прохорова отошла от флигеля, взглядывая на окно. На белых, ярко освещенных шторах мелькали тени двух фигур; через несколько минут не стало видно и этих отражений. В саду и в доме была полнейшая тишина. Где-то далеко слышалось лошадиное ржанье, петух пропел спросонья на птичнике. Опять все стихло, точно замерло. В воздухе стало свежее. Откуда-то потянуло сыростью. Агафья Прохорова вздрогнула.

— Нет, уж я тебя, голубушка, дождусь! — прошептала она и села на скамью. — Будь я не я, если я тебя не укараулю, да не выведу на

свежую воду...

Не прошло и десяти минут, как Агафья Прохоровна почувствовала, что скамья отсырела. Она вскочила и, быстро оправив промокшие юбки, стала снова ходить, как дежурный часовой, около дома. Где-то в комнатах пробили часы: било двенадцать. У Агафьи Прохоровны ноги устали от ходьбы. Она решила опять сесть на сырую скамью. В ее груди учащенно билось сердце. Ей поскорей хотелось накрыть «подлую девчонку». Наконец, портьеры в комнате Егора Александровича раздвинулись, отворилась дверь и на пороге появились молодые люди. Егор Александрович еще раз обнял Полю. Она, набросив на голову платок, стала спускаться с террасы... Агафья Прохоровна знала, по какой дорожке должна пройти Поля, и быстро обошла другой дорогой, чтобы встретить молодую девушку. Поля шла, ни на что не обращая внимания, и дошла до большой террасы, занимавшей половину главного фасада барского дома. Вдруг раздался у ее ног крик испуга, и со ступеней поднялась, присевшая на них, Агафья Прохоровна.

— Тьфу ты, господи! С нами крестная сила! Чур меня! — вскричала старая дева.

Поля вздрогнула и отступила на шаг.

— Кто это? — продолжала Агафья Прохорова. — Ты, Пелагея, ночью по саду бродишь?

— А вы? — спросила Поля.

— Так я тут сидела, у дома, набожным размышлениям предавалась... А ты? Уж не к Егору ли Александровичу изволила ходить? — насмешливо закончила старая дева.

Поля бойко подняла голову.

— Ну, а если б и к нему? Вам-то что? — спросила она задорно. — Ну, была у него, была. Что же такое?

— Ах, ты, срамница, ах, срамница! Да если бы Софья-то Петровна это узнала...

— И знает, знает, все знают, — резко сказала Поля. — Вот в том-то и беда ваша! Жаловаться-то некому! Ни от кого мой грех не скрыт, и никого я не боюсь. Перед всем миром скажу, что люблю Егора Александровича и хожу к нему, и не боюсь никого!

Агафья Прохорова даже руками развела.

— Да ты, девка, не в своем уме! Головы ты

своей не сносишь!..

— Ах, что мне моя голова теперь! Пока он любит, до тех пор и жива...

Она стала быстро подниматься на террасу.

— А жаловаться станете, — сказала она, остановившись на минуту и обернувшись к Агафье Прохоровне, — самим же хуже будет. Софья Петровна сына на вас не променяет, а он — жить мы друг без друга не можем!..

Она говорила с уверенностью в его любовь, вся сияющая от счастья, вся еще охваченная обаянием его ласк. Агафья Прохоровна растерянно смотрела ей вслед. Короткая весенняя ночь уже начинала бледнеть, в саду слышались предрассветные голоса пробуждавшихся птиц.

— Ну, Содом и Гомор, истинно говорю: Содом и Гомор! — проговорила Агафья Прохоровна, разводя в стороны руками. — И погибайте вы все окаянные, и слезы об вас не выроню... Ах, развратники, ах, развратники!

Вторая глава

I

— Куда я иду?.. Люблю одну, рассчитываю жениться на другой... И все потому, что первая мне не пара, а вторая может поправить мои денежные дела!.. Как все это пошло, как все это низко! — в сотый раз повторял мысленно Егор Александрович, волнуясь и сердясь на себя, и в его душе поднималось ощущение брезгливости чистоплотного человека, заметившего внезапно, что он весь забрызган грязью.

Мухортов не мог сказать, что он безукоризненно честный человек, так как в прошлом он жил жизнью тепличного, выхоленного растения, защищенного от всяких стихийных случайностей, бурь и гроз. Но он мог смело сказать, что покуда он не совершил никакой подлой сделки со своею совестью, так как идти на эти сделки ему до этой поры вовсе было не нужно. Весть о разорении была первой бурей, налетевшей на него, и она поразила его,

как гром, грянувший в безоблачном небе. Вся движимая и недвижимая собственность Мухоморовых принадлежала Егору Александровичу, но, даже сделавшись совершеннолетним, выделив мать и сестер, он никогда не интересовался ни размерами этой собственности, ни приносимыми ею доходами, предоставив матери продолжать распоряжаться всем имуществом, как она распоряжалась им в годы опеки над сыном. Практическая жизнь интересовала молодого человека менее даже, чем светская жизнь. Светской жизни он отдавал хотя какую-нибудь дань, по необходимости являясь иногда на балах, в блестящих салонах, на пирушках золотой молодежи. Мать убеждала его, что это нужно «для поддержания связей». Отбыв волей-неволей эту повинность, он заперся в своем кабинете и отдавался чтению любимых поэтов, философов, историков, проводил время в обществе студентов. В его голове начинали созревать планы серьезных научных трудов, и с каким-то благоговейным чувством подготавливался он к деятельности ученого, как к священнодействию, еще не доверяя своим собственным силам и в то же

время испытывая радостное чувство при мысли, что, может быть, и он когда-нибудь станет рядом с теми, кому он теперь поклоняется сам. Просматривая как-то биографию Бокля, он вдруг точно прозрел: вот именно та жизнь, которой жаждал он, — ученье в тишине кабинета, вдали от всяких житейских дрызг, долготная серьезная работа, создание крупного, зрело обдуманного труда. У него как раз есть все необходимое для такой жизни: средства для существования без работы из-за куска хлеба, мать, заведующая делами, охота к чтению, развитая в нем еще в детстве его дорогим наставником и другом, стариком-швейцарцем Жеромом Гуро, когда-то состоявшим при Мухортове в качестве гувернера... И вдруг, среди этих радужных грез, когда он уже окончательно решил вопрос об отставке, о поступлении в университет, весть о разорении заставила его упасть с неба на землю.

— Жорж, Жорж, это ужасно! Мы стоим на краю пропасти! Мы погибли! — восклицала Софья Петровна, передавая сыну весть об этом событии, мелодраматически ломая руки. Еще накануне она давала бал, поглотив-

ший не одну тысячу рублей.

Егор Александрович даже не мог понять сразу, о чем ему говорит мать.

— Успокойся! — проговорил он. — Что с тобою?.. Ты вечно все преувеличиваешь... Не могло же так все погибнуть вдруг?.. Может быть, можно еще поправить как-нибудь дела... Конечно, можно!..

Он сам плохо понимал, что он говорит.

— Нет, нет! Алексис пишет, что все погибло... что имение не сегодня, так завтра продадут с молотка... Это ужасно, ужасно! — восклицала генеральша и металась на софе, как от приступов невыносимой боли. — И завтра, завтра нужно еще уплатить по счетам модистки!..

— Да ты не волнуйся и объясни, что случилось, — уже нетерпеливо допрашивал сын. — Как это так, вдруг...

Его лицо покрылось смертельною бледностью.

— Ах, разве я знаю... разве я понимаю что-нибудь в этих делах! — брезгливо сказала Софья Петровна, как будто речь шла о чем-то грязном и сальном.

Она вела дела в течение пятнадцати лет.

— Я знаю одно, что Алексис пишет ужасные вещи... по миру пойдем... публиковать о продаже будут... Публиковать о нашем разорении!.. И все, все прочтут в газетах...

С ней сделался истерический припадок.

Впервые в жизни Егора Александровича охватило чувство страха. Несмотря на все усилия, он не мог отделаться от этого чувства. Он злился на себя, он с презрением называл себя мысленно человеком-тряпкой, мелкой натурашкой, но тем не менее страх перед будущим охватывал его всего, мешал ему думать, соображать. В голове проносились только какие-то отрывки мыслей, соображений, картин, без всякой логической связи. Нищий, что он станет делать? Он ни к чему не способен! Надо будет покончить все разом! О, как трудно, как тяжело умирать, когда так хочется жить! А Поля? Бедная девушка! Он погубил ее нравственно, теперь он должен заставить ее испытать весь ужас материальных лишений. Если бы ему удалось обеспечить хоть ее. А что, если она сделается матерью? Ведь это будет его ребенок, обреченный при рождении

на нищету, на гибель. Да, прежде всего нужно спасти эти два существа. Но что же делать?

— Жорж, дядя пишет... — начала опять в том же тоне героини французского романа генеральша, — дядя предлагает... Но мне страшно даже сказать... Ах, нет, это ужасно... Это страшная жертва!.. Он там в деревне нашел какую-то невесту тебе...

— Ах, до невест ли теперь, — раздражительно воскликнул Мухортов.

— Я понимаю, дитя мое, как это ужасно... в твои годы и жениться не любя, без страстного увлечения!.. Алексис, конечно, этого не может понять... он так огрубел там в деревне... Но он пишет, что это может нас спасти...

— Спасти? — почти бессознательно повторил Егор Александрович.

— Да, она очень богата... Ты ее знаешь... это Мари Протасова. Правда, ее отец из купцов, но он образованный, жил долго в Англии... и в чинах... Нынче ведь им дают чины... Статский советник, кажется... Право, не знаю наверное... Что-то в этом роде... Впрочем, со стороны матери у Мари Протасовой очень почтенная родня, из старых дворян...

В ее голосе звучала нотка презрения. Мухортное ходил по комнате, почти не слыша, что говорила мать, погруженный в свои думы.

— Если бы я могла просить тебя, умолять на коленях об этой жертве! — продолжала Мухортова, поднимая закатившиеся глаза и трепетные руки к потолку. — Но разве я смею!.. Я женщина, я мать, я понимаю, чего будет это стоить тебе... О, эти браки без любви!.. Разве я сама не была жертвой всю жизнь?.. Но мы должны спасти свою честь...

Сын рассеянно ответил:

— Что ж, если это единственный исход!

— О Жорж, Жорж! Я буду на коленях молиться за твое счастье! — воскликнула генеральша. — Бог услышит молитвы матери!..

— Ты понимаешь, я не могу еще ничего сообразить, обдумать, — нетерпеливо ответил Мухортов, всегда раздражавшийся при виде трагических ломаний матери. — Это все слишком неожиданно!

— А я, а я? Разве я ожидала? Разве я могла ожидать?

— И как не стыдно дяде Алексею... Не пре-

дупредил... не предостерег заранее, — задумчиво заметил сын.

— Ах, он говорит, что предупреждал... Но разве я могла верить?.. Они там всегда так в деревне: вечно угрожают, жалуются на безденежье, на неурожаи... И вечно у них какие-то платежи!.. Я не читала даже этих иеремиад... Сколько лет все угрожал!.. А теперь... О, это, как гром, поразило меня... Я все, все вынесу, но не позор!.. Позор меня убьет.

И затем полился целый поток трогательных просьб о жертве и трагических восклицаний о позоре. Егор Александрович соглашался сделать все зависящее от него, но он говорил, точно во сне. Мать, занятая только собою, не замечала состояния его духа и слышала одно его согласие с планом дяди Алексея Ивановича.

— Я на этих же днях должна бежать отсюда, — с трагизмом продолжала Мухортова, любившая употреблять страшные слова. — У нас есть срочные долги... Придут кредиторы... Нет, нет, я не способна лгать и притворяться!.. Я должна уехать на время, и если тебе удастся жениться — наша фамильная честь будет спа-

сена... Ради бога, Жорж, бери скорей отпуск, приезжай в деревню... Покуда все не уладится — я не буду жить!..

В доме начались суетливые сборы к отъезду в деревню. Генеральша была серьезно убеждена, что ей остается одно спасение в бегстве, и легкомысленно повторяла себе: «Ах, это точно в романе». Мухортов бродил среди страшного хаоса в своей квартире, как тень, не находя успокоения, и, смотря на укладыванья в чемоданы и сундуки вещей, испытывал ощущение беглеца, спасавшего свои последние пожитки от наступающих врагов и сознающего, что, в сущности, спасти уже ничего нельзя. Ему крайне смутно представлялось его собственное положение: он не знал и теперь настоящего состояния своих дел и только слышал раздираательные стоны матери о том, что они стоят на краю пропасти, что их ждет позор. Его душевное настроение было так же смутно и тягостно и через месяц после отъезда Мухортовой в деревню, когда туда, по условию, должен был отправиться и он. О женитьбе он старался не думать, хотя его самого бесило это стремление

не глядеть прямо в глаза обстоятельствам, это стремление обмануть самого себя; он чувствовал, что он поступает подобно глупым птицам, прячущим ввиду опасности головы под крылья; он тоже прятал голову под крыло, боясь прямо сказать себе, что он идет на бесчестную сделку ради материальных выгод. Это его возмущало и лишало веры в свои нравственные силы; хорошо он будет жить в будущем, если при первой житейской невзгоде он уже идет на подлую сделку...

И что это за девушка, на которой он должен жениться?..

Он очень смутно представлял ее себе. Он помнил, что когда-то, в дни его отдаленного детства, лет десять или одиннадцать тому назад, к ним в Мухортово изредка приезжали какие-то полупомешанные и чопорные старые девы Ададурины в ярко-красных и ярко-синих платьях, в широчайших кринолинах, с грубо покрашенными бровями, щеками и губами, и с ними приезжала маленькая черномазенькая девочка Маша. Это был странный ребенок, походивший на отощавшую в неволе обезьянку; то она сидела, съежив-

шись, угрюмо и молчаливо, как ушедшая в раковину улитка, и в эти минуты казалось, что у нее болит грудь, что она скоро зачахнет; то вдруг она становилась дико и необузданно развязною и приводила в ужас всех гувернанток и барынь, лазая по деревьям и плетням, подскакивая верхом на палочке, как уличный мальчишка, и в эти минуты она казалась просто безумной дикаркой, зверьком, способным защищать зубами свою свободу.

— *C'est une fille mal élevée*, [1] — говорили про нее дамы.

Эту фразу о Маше повторяли на все лады и прибавляли к этому со вздохом:

— И то сказать, она растет так одиноко, в таком забросе!

Егора Александровича в те годы очень мало интересовала эта девочка: он страдал глазами и вел отчужденную от детских кружков жизнь в обществе Жерома Гуро, читавшего ему вслух иногда по целым дням величайшие произведения европейских гениев. Из всех встреч с этой девочкой Мухортов запомнил только одну. Как-то раз эта девочка, наскочившись и набегавшись вволю, подбежала к

большой террасе мухортовского дома и увидела Жоржа: он сидел один на ступенях лестницы с зеленым зонтом, защищавшим от света его больные глаза. Девочка остановилась перед ним, как вкопанная, в немом изумлении, потом вздохнула и жалобным, протяжным голосом проговорила:

— Бедный слепенький, хочешь я тебя повожу?

Потом его часто в шутку называли «бедным слепеньким»...

Затем он совсем забыл Машу Протасову и только год тому назад увидел ее снова у своей сестры Барб на балу, — увидел мимоходом, мельком. Маша превратилась уже в Марию Николаевну и была не маленьким тщедушным ребенком, а свежую, как только что распустившаяся роза, девушкой с здоровым, загорелым по-деревенски, цветом кожи, с роскошными черными волосами, с серьезными и строго правильными чертами лица, с большими задумчивыми черными глазами. За ней увивалась целая толпа блестящей молодежи. Мухортов обменялся с нею парой незначительных фраз и запомнил только сло-

ва своей сестры, сказавшей ему:

— Маша Протасова сегодня опять, как улиточка, ушла в свою раковину!.. Странное создание!.. Совсем не умеет держать себя в обществе...

Далее случай как-то развел их, помешал им встретиться, — и вдруг теперь он, Мухортов, должен играть роль влюбленного в нее, влюбить ее в себя, свататься за нее! Он делал все усилия, чтобы не разбирать вопроса, насколько это нравственно и честно, — делал именно то, что было всего труднее для него, привыкшего под влиянием одиноко проведенного болезненного детства, под влиянием Жерома Гуро, копаться в своей душе, отдавать себе отчет во всех своих душевных движениях. Он старался теперь даже уверить себя, что он считает такую женитьбу в порядке вещей. Свое волнение он пробовал приписать только одной заботе об участи Поли.

Действительно, что будет с нею, если он не женится? Не ждет ли ее нищета, не погибнет ли она и, может быть, не одна, а с ребенком? Но что ждет ее, если он женится? Перенесет ли она это? Да, это было для него страшнее

всех других вопросов...

II

Связь с Полей была единственным темным пятном в светлом прошлом Мухортова. Он сошелся с этой девушкой нежданно-негаданно. За несколько минут до этого события он возмутился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что это событие случится. Он как сейчас помнит эту роковую минуту. Дело было на Пасхе. Он приехал домой поздно вечером, несколько возбужденный шампанским, и встретил в коридоре, проходя в свою комнату, Полю.

— А я с тобой еще не христосовался нынче! — с веселой улыбкой сказал он девушке и подошел к ней.

Он обнял ее и в ту же минуту почувствовал на своих губах град страстных поцелуев вместо трех обычных холодных поцелуев христосованья.

— Поля! — прошептал он в волнении, с легким упреком в голосе.

— Голубчик, простите! — тоже тихо, но порывисто и страстно проговорила она. — Не

могу я скрываться... люблю я...

Она залилась слезами и, схватив его руки, уже покрывала их горячими поцелуями. Он смутился, растерялся. До этого времени он вел почти аскетическую жизнь, настойчиво сторонясь от женщин. Ему казались бесчестными интрижки с чужими женами за спинами обманываемых мужей; в нем пробуждали брезгливое чувство связи с продажными женщинами, ласкающими за деньги сегодня одного, завтра другого. Над ним сильно подтрунивали приятели, говоря, что он дал обет девственности. Он впервые слышал теперь страстный шепот любви. Перед ним стояла полная здоровья, молодости и чистоты девушка. Он забыл все и вполне отдался первому порыву этой неожиданно пробудившейся страсти. Не прошло и часу, как он уже отрезвел от этого опьянения и почти со слезами, целуя руки этой девушки, просил у нее прощения, проклинал себя.

— Что вы, что вы, милый, дорогой! — страстно заговорила она. — Я сама на это шла... Мне все равно!.. Любите меня только... хоть немного...

Она стала говорить, как давно она его любит, как давно только он и снится ей во сне и наяву. Он, может быть, и не замечал, как она следила за ним, как не спускала с него глаз. В коридоре подстерегала она его, когда он возвращался домой, чтобы взглянуть на него хоть глазком. Это была страсть, поглотившая все ее существо, наполнявшая все ее мысли. Она его любила, как только простая девушка могла любить красавца-барина...

Сначала никто в доме и не подозревал, что случилось. Гришка, в качестве домашнего шпиона, первый подсмотрел, как барин целуется с Полей, и тотчас же оповестил об этом «крестную». В награду за сообщение «крестная» надрала ему ушки. Тем не менее она стала сама наблюдать за Полей. Как человек опытный в любовных делах, она быстро убедилась в истине слов Гришки. Не прошло и двух дней после этого открытия, как все стало уже известным и генеральше. В доме начались тревожные перешептыванья. Генеральша на тысячи ладов восклицала капризным тоном:

— Ах, противный мальчишка!.. Тоже муж-

чиной сделался!.. Подумайте!..

В доме князей Щербино-Щедровских и господ Мухортовых ни для кого не казалось странным в былые времена, когда кто-нибудь из господ обращал особенное внимание на одну из дворовых девушек. Делалось это, по большей части, очень просто.

Барин, положим, говорил:

— Послать ко мне Глашу!

Затем через несколько месяцев он призывал кого-нибудь из слуг и говорил:

— Тебе пора жениться; женись на Глаше!

Тем все и кончалось. Облагодетельствованный барским выбором дворовый женился; барин был отцом посаженным; барин крестил детей. Так делалось прежде. Теперь же все точно сконфузились, когда с Полей случился «грех». Долгое время все делали вид, что никто этого не замечает, и в то же время все усердно подкарауливали молодых людей, точно еще не веря в совершившийся факт. Всех мучил один, никому не приходивший в голову в былые времена, вопрос:

— Что же будет дальше?..

Все без исключения сознавали, что Егор

Александрович не может призвать и не призовет никого из слуг, чтобы сказать:

— Тебе пора жениться; женись на Поле!

Все сознавали и то, что Поля, вероятно, никак не согласилась бы на подобный брак, если бы даже Мухортов и мог устроить его. Все инстинктивно чувствовали, что, несмотря на то, что связь господ и дворовых повторялась с незапамятных лет в доме князей Щербино-Щедровских и господ Мухортовых, — связь Поли с Егором Александровичем была явлением новым, небывалым, влекущим за собою немало забот и хлопот. Это явление до того смутило всех, что Елена Никитишна втихомолку даже всплакнула; Прокофий как-то напился пьян (что с ним бывало часто) и, бушуя, ругался за то, что в нынешние времена отец и за косу девку оттащить не может; Софья Петровна сентиментально заметила сыну, что она им очень недовольна. Спокойнее всех были сами любовники. Егор Александрович старался не думать о будущем, давая в душе юношеские обеты, что и в будущем он не бросит Полю. Поля, со своей стороны, иногда смущалась мрачными думами, но стоило ему при-

ласкать ее, и все эти думы рассеивались перед светом охватывавшего ее счастья. Люди привыкают ко всему. Через два месяца в мухортовском доме начали привыкать и к тому, что Егор Александрович живет с Полей. Все как будто старались уверить себя, что эти отношения так и будут продолжаться всегда, что никаких печальных последствий не предвидится...

В это время между тем назрело то, о чем еще более, чем о грехе Поли, старались не думать, не говорить в доме: событие это было — разорение. Дела Софьи Петровны Мухортовой были уже давно не в блестящем положении, что не мешало ей жить широко и беспутно. Генеральша, впрочем, могла себя оправдать тем, что иначе она и не может жить. Нельзя же ей не принимать дядю Жака, князей Щербино-Щедровских, разных других Мухортовых, всю свою богатую или заслуженную родню. Долгое время Мухортова при помощи Алексея Ивановича кое-как изворачивалась, закладывая и перезакладывая имение, продавая по частям лес. Наконец, она дошла до того предела, когда изворачиваться дальше было

нельзя. В это-то время Алексей Иванович, даже не спросив Егора Александровича, закинул удочку к одному из своих компаньонов по разным подрядам и круто заявил Мухортовой, что Протасов — заводчик, подрядчик и банковый делец, ворочающий миллионами, — вероятно, охотно отдаст за ее сына свою дочь. Эта женитьба была единственным средством спастись, то есть выкупить имение, начать новое хозяйство, обеспечить себя вполне в близком будущем. Выбора в средствах к спасению не было, приходилось согласиться на эту сделку. Мухортова согласилась. Она уговорила и сына согласиться на эту «жертву». Однако ни Софья Петровна, ни Егор Александрович не говорили об этом громко в своем доме. Об этом не говорил никто и среди дворни, хотя все угадывали, что Егора Александровича собираются на ком-то женить; недаром же знала Елена Никитишна, что значит слово «марьяж». Но всем, начиная с господ и кончая слугами, было как будто совестно сознаться, что женитьба Егора Александровича — дело решенное. Среди разных других соображений возникла снова и мысль о

том, что будет с Полей? Это заставляло иногда трогательно вздыхать Софью Петровну, высоко закатывавшую глаза к потолку. Это же заставляло иногда Елену Никитишну, совершенно одиноко занимавшуюся какой-нибудь работой, бессознательно замечать вслух:

— Ах, девка, девка, что ты наделала!

Но, волнуясь и тревожась, все тем не менее старались умалчивать о предмете своих тревог и волнений, делали вид, что ничего особенного не должно случиться. Молчали об этом даже Поля и Егор Александрович. Она молчала потому, что она не хотела верить в возможность его близкой женитьбы, отдавшись всецело страстному чувству, охватившему ее, и махнув рукой на все остальное. Она уверяла даже сама себя, что все слухи о женитьбе Егора Александровича пустяки, так как он первый сказал бы ей об этом. Она была убеждена или старалась убедить себя в этом. Он же молчал потому, что ему неловко было сказать ей правду. Мягкий и добрый по натуре, мечтатель и идеалист, живший в мире книг, он боялся чисто по-женски всяких потрясающих сцен, а потрясающие сцены — он

это предвидел — непременно должны были произойти, как только он объявит Поле о своей женитьбе. Могла ли она принять спокойно известие о его женитьбе? Она разрыдается, будет умолять его не жениться, придет в отчаяние, наложит на себя руки! Ему хотелось отдалить минуту этого объяснения, придумать средства успокоить бедную девушку, любившую его так беспредельно, так страстно. Он был для нее идиолом, божеством. Она не могла наглядеться на него. Каждое его желание было для нее законом. Скромная, стыдливая, чистая, она не останавливалась ни перед чем, чтобы наслаждаться его любовью, чтобы пробить лишнюю минуту с ним...

А время между тем шло. Настал день обеда у Алексея Ивановича, где Егор Александрович должен был сойтись поближе с Марьей Николаевной Протасовой.

Не без тяжелого чувства поехал Мухортов на этот обед — на смотрины невесты. Всю дорогу он презрительно подшучивал над этим оригинальным в его положении сватовством, но на душе у него было далеко не спокойно. Ему было не то гадко идти на такую сделку,

не то досадно на свое безвыходное положение. Не без горечи иногда он спрашивал себя в душе:

«Ну, а вдруг сорвется? Вдруг она, эта мужичка, не соблаговолит принять мое предложение?» Он ощущал к ней что-то вроде ненависти, хотя еще почти вовсе не знал ее. Эти чувства накалились еще сильнее под плаксивые, томные замечания вечно бестактной матери о том, что он должен постараться понравиться, что он должен быть любезным. Эти фразы раздражали его, точно кто-то давал ему щелчок за щелчком.

Мухортовы приехали на обед к Алексею Ивановичу первыми; их встретили жена, дочери и сын хозяина. С первых же слов Егор Александрович угадал, что вся семья отлично знает о цели этого обеда, и почувствовал себя еще более неловко. Семья Алексея Ивановича (его жена Антонида Павловна, его сын Павел, его дочери Люба и Зина) была такою же откормленною и беззаботною, как он сам; все эти жирные, довольные судьбой, практичные люди, казалось, сожалели Егора Александровича за то, что он очутился в незавидном по-

ложении, и душевно, с добродушием сытых людей, желали ему помочь. Его же бесило их сытое довольство и их непрошеное участие; он, как капризный ребенок, злился даже на то, что вся семья дяди звала его, Егора Александровича, Егорашей, точно в этой кличке было что-то оскорбительное для него. Ему нужно было вооружиться всей своей светской сдержанностью, чтобы быть покойным и невозмутимым по виду. Наконец, приехала и невеста. Она приехала по обыкновению с одной из своих теток, Ольгой Евгениевной Адауровой. Егор Александрович, представленный дядею дамам, быстро окинул их глазами. Марья Николаевна, как ему показалось, еще более похорошела за последний год; но ему сразу бросились теперь в глаза ее несколько резкие манеры и странный тон, слишком развязный для салона. Ольга Евгениевна была сухая, сморщенная, но густо накрашенная, напоминавшая издали рождественскую маску, старуха, с тупым выражением лица, с нестерпимой привычкой переспрашивать, вследствие легкой глухоты, каждую фразу. Ее Егор Александрович узнал сразу, хотя не видал

давно. Ему показалось даже, что он еще в детстве видел ее красное платье с белыми широкими полосами, широко расходившееся в стороны на громадном кринолине. С первых же слов, когда все уселись на террасе, она, лорнируя Егора Александровича, стала спрашивать его, вертятся ли в Петербурге столы? Он с недоумением взглянул на нее, не зная, что ответить.

— Да вы сами-то разве в спиритизм не верите? — спрашивала Ольга Евгениевна и тотчас же сухим, наставительным тоном обратилась к Софье Петровне: — Это все нигилизм. Мари тоже не верит. А как же не верить?.. В Петербурге дочери священника Чудакова какой хотите стол заставят вертеться.

— Вероятно, сильные барышни! — с усмешкой заметил Егор Александрович.

— Как вы сказали? — спросила Ададунова, продолжая бесцеремонно рассматривать его в лорнет, как вещь. — Сильные барышни? Во-все не остроумно! Тут не сила, а вера нужна. Без веры ничего нельзя сделать... И стуки у Чудаковых в доме такие, что раз сам отец Николай... Вы отца Николая знаете?

— Не имею чести...

— Что вы сказали? Не имеете чести знать? Очень, очень жаль! Таких людей отыскивать надо молодым людям, учиться у них надо! Всем теперь ясно, до чего нас довело нынешнее безверие... Отец Николай — почтенный человек, ученый; трактат теперь пишет, в каком виде будет загробная жизнь и как мы там будем жить. Три тома уже написал... Так вот, вышел он раз утром в столовую и говорит дочерям: «Вы там, как хотите, а чтобы по ночам у меня этих духов не слышно было; я не потерплю...»

Егор Александрович уловил резкое нетерпеливое движение Марьи Николаевны, стоявшей в стороне с дочерьми Алексея Ивановича. В ее глазах сверкнул гнев. До его слуха ясно долетели слова:

— Любовников, верно, по ночам принимали!..

Он встал, подошел к группе барышень, обратился к Протасовой и любезно заговорил с нею.

— Это черт знает, что такое! — раздражительно сказала она с первых же слов. — Во

всякую ерунду готовы верить. Выживут из ума и носятся со всякою чепухой...

Егор Александрович широко открыл глаза: девица была несколько чересчур энергична. Она развязно продолжала:

— Поневоле девушки будут рваться из дома, когда с одной стороны матушки и тетушки шамкают о душах умерших, а батюшки и дядюшки высчитывают, сколько может дать барышей та или другая душа живых. Я иногда сама просто бежать готова да и...

Мухортов усмехнулся.

— Вам, я думаю, вырваться нетрудно, — заметил он.

— Ну, это смотря, — ответила она бойко и сделала презрительную гримасу. — Замужество? Ну, так за старикашку какого-нибудь я не пойду. За молокососа, если он влюбится в меня, как сумасшедший, тоже не выйду...

— Это почему? — невольно спросил Егор Александрович.

— Ах, это скучно! Он вечно и будет ходить, как тень, за моей юбкой. Брак должен давать полную свободу мужу и жене, а не стеснять их, как цепь каторжников.

Она проговорила это, как прилежные девочки отвечают отлично вызубренный урок.

По лицу Мухортова опять скользнула усмешка.

— То есть, он может идти направо, а она налево? — спросил ов.

— Ну, да, если им так захочется! Муж и жена должны быть равноправными, а не крепостными друг у друга.

— У вас оригинальные взгляды на брак! — заметил он.

— Я знаю одно, что я бы не стеснила с этими взглядами мужа, ни ему не позволила бы стеснять себя, — ответила сна. — Да я и никому не позволю себя стеснять...

Потом она обернулась к одной из дочерей Алексея Ивановича и спросила:

— А ваш плантатор куда скрылся?

— Папа?.. Он отправился на спичечную фабрику; там сейчас несчастье случилось: мальчик утонул; пошел за водой, вздумал выкупаться и утонул, — ответила старшая дочь Алексея Ивановича.

— Ах, пойдете туда, — сказала Марья Николаевна. — Я давно хотела осмотреть вашу

спичечную фабрику. Отец мне о ней говорил: «Нынче, говорит, всякая мерзость в руках ловкого человека доход дает».

Зина и Люба сконфуженно переглянулись между собой.

— Нет, Мари, туда неловко идти, — заметила Зина. — Там ужасный воздух и, кроме того...

Она наклонилась к Протасовой и что-то, смеясь, шепнула ей. Марья Николаевна захотала.

— Скажите, чего боятся!

Она обратилась к Егору Александровичу:

— Стыдно, видите ли, что рабочие ходят чуть не голые.

Она пожала плечами.

— Развращенное у вас, как у институток, воображение! Мне это решительно все равно. Пойдемте, Егор Александрович, вдвоем, если они не идут.

Мухортов поспешно согласился. Его заинтересовала эта девушка. Бойкость, развязность, откровенность и даже разнузданность, все это сразу бросалось в глаза. Ему живо теперь вспомнилась черномазенькая Маша, к

ужасу всех женщин лазавшая на деревья и скакавшая верхом на палочке. Ловко подбрав одной рукой платье, она пошла с Мухортовым скорыми, крупными шагами, в ногу с ним. Дорогой к фабрике она много болтала и, между прочим, заметила про барышень Мухортовых:

— И что это у них за стыдливость? Вот чего я никогда не знала! Ну, голый человек, так голый, пьяный, так пьяный, мерзавец, так мерзавец! А им вечно флер надо накидывать и на тело, и на нравственность.

— Да, но есть вещи, которых девушка не должна бы знать или видеть, — осторожно заметил он.

— Ну, это еще вопрос! Да дело не в том, так это или нет, а в том, что все всё и видят и знают, только одни в щелку подсматривают, а я открыто предпочитаю смотреть.

Она усмехнулась.

— Вы бы порылись в душах этих скромниц, послушали бы их разговоры между собою. Актрисы и притворщицы — вот и все! Прикрываются фиговыми листочками, чтобы никто не заметил, что за ними делается.

Когда они дошли до фабрики, Марья Николаевна смело вошла в мастерские, где работали почти без одежды дети и подростки, среди убийственной жаркой атмосферы. Фабрика походила скорее на скверно построенный сарай, чем на мастерскую. Протасова поговорила с рабочими, справилась, как что делается, вошла в самые мелочные подробности. Потом, выйдя из мастерских, она направилась к речке, на берегу которой лежало под рогожею тело утонувшего мальчугана. Она смело открыла рогожу, посмотрела на утопленника и спросила у сидевшего тут же и курившего коротенькую трубку мужика:

— Большая семья у него?

— Какая семья... пареньку двенадцать годков всего было, — ответил мужик. — Матка и отец есть... двое братьев и сестренка махонькая есть...

— Что же, бедные, верно?

— Нешто богатеи послали бы на фабрику? — ответил мужик.

Затем она начала расспрашивать, сколько рабочим платится на спичечной фабрике, с каких лет начинают работать, много ли уми-

рает народу. Поговорив минут с пять с мужчи-
ком, она обернулась к Егору Александровичу:

— Выгодное дело это у Алексея Ивановича.
Гроши затрачивает, а рубли собирает! Вот
они наши американцы-то; куда ни обернись,
езде у них Калифорния под руками. Быстро
состояние составит...

— Чужим потом и кровью, — вставил Му-
хортов.

В нем все виденное им пробудило брезгли-
вое чувство.

— А то как же иначе? Прежде оброками
выбивал деньги, теперь работой! — ответила
Протасова.

— Вас, по-видимому, это не возмущает? —
спросил он.

Она расхохоталась.

— А вас разве возмущает? — задорно спро-
сила она.

— Конечно! Это бесчеловечно, — начал он
горячо. Но она резко и грубо перебила его.

— А вы шампанское пьете и устриц еди-
те? — спросила она. — И не возмущаетесь?
Ведь деньги-то и на это из народа выбиты.

И, сделав презрительную гримасу, она до-

бавила:

— Я, право, не понимаю, почему нравственнее жить на чужой счет, стараясь закрыть глаза, чем жить на чужой же счет, сознаваясь в этом. Я привыкла все называть настоящим именем; эксплуататор — так эксплуататор, вор — так вор!

Потом она с усмешкой прибавила:

— Вот ваши кузины в обморок бы здесь упали, а абонемент в итальянскую оперу все-таки потребовали бы от папаши. Ну, а я — в итальянскую оперу и я езжу, но я знаю, точно знаю, чем платится за абонемент, сколько Сидоров и Иванов должны идти ради этого по миру.

Егор Александрович никак не мог разобраться, чего больше в этой девушке: естественной прямоты или искусственного цинизма, придуманного или вычитанного. Он навел речь, нет ли у нее заветных планов относительно будущего; не думает ли она сделаться какой-нибудь благотворительницей, не мечтает ли о женском труде? Ему представилось, что перед ним стоит одна из так называемых «эмансипированных девиц» или из

«quasi-нигилисток», вроде Кукшиной в зародыше.

— Благотворительность? — спросила она с изумлением, широко открыв свои черные глаза. — Это — та же кража рубля в одну сторону и раздача копеек в другую. Если бы было противоположное, то благотворители сами стали бы предметом благотворительности.

О женском труде она коротко заметила:

— Я же не нуждаюсь! Мне работать — это значит отбивать работу у бедных! Женщинам в моем положении остается только жить, то есть пользоваться удобствами жизни, наслаждаться, вот и все...

— И вы думаете, что это не наскучит? — спросил он.

— Вовсе не думаю!.. Я очень хорошо знаю, что эта жизнь в конце концов доводит до разных безумий; одни развращаются, другие делаютя спиритками или ханжами, третьи подательницами грошей; даже пить начинают многие... Но ведь не раздать же мне все нищим, чтобы сделаться самой нищею?.. Разве только из-за желания сильных ощущений. К

несчастью, я вперед знаю, что вышло бы из этого, и вовсе не желаю проделывать подобных экспериментов с собою...

По ее лицу вдруг скользнула тень.

— Теперь мне стоит клич кликнуть — и сотни людей будут у моих ног, а сделайся я нищей, все скажут...

Она вдруг рассмеялась с горькой иронией.

— Помните у Гейне:

*Как несет чесноком от графини,
От m-me la comtesse Gouldefeld.*

Молодые люди возвратились в дом Мухоморовых к самому обеду.

Когда после обеда дядя Алексей Иванович отвел в сторону племянника и спросил его:

— Ну, как она тебе показалась?

Егор Александрович засмеялся.

— Дикая кобылица какая-то! — ответил он с несвойственной ему грубостью.

Алексей Иванович даже руками развел.

— Ты что же это... Вот выдумал!.. Наутек, что ли, хочешь, Егорушка?

— Нет, дядя, сватайте! Она хоть прямо говорит, что стеснять мужа не будет...

Он нервно шутил и смеялся, а в его душе была какая-то тревога и горечь. Он сознавал, что эта девушка способна сказать ему прямо и дерзко: «Сколько вы хотите содрать с моего отца, взяв меня за себя?» От нее можно было этого ждать, и хуже всего было то, что он, Мухортов, не сумеет, не может ничего ответить на этот вопрос. Да, он точно готов жениться на ней, чтобы содрать с ее отца тысяч сто или больше на поправку имения.

Вернувшись домой, он хотел объяснить с Полей, поговорить с нею о своей невесте, громко насмеяться над последней, уверить Полю, что он никогда не полюбит эту девушку. Но явилась Поля, и вместо объяснений посыпались поцелуи. Мухортову хотелось скорей забыть, что он готовится продать себя...

III

Вопрос о женитьбе Мухортова особенно сильно заволновал всех, когда был назначен обед в мухортовском доме для Протасовых. В этот день вдруг точно прорвалась какая-то плотина и всем, начиная с Агафьи Прохоровны, стало ясно, что Мухортов женится, и на ком женится. В доме шли необычайные приготовления к приему гостей. Даже сама Софья Петровна, всегда невозмутимо спокойная в подобных случаях, немало волновалась и заботилась, чтобы ничто не было забыто. Уже утром, сидя с сыном в столовой за чаем, она несколько раз обращалась к слугам то с тем, то с другим приказанием.

— Прокофий, скажи Грише, чтобы он непременно ожидал у ворот, — говорила она, обращаясь к старому дворецкому. — Как увидит гостей, пусть тотчас же доложит мне, чтоб не заставить ждать; а то вы все здесь разбредетесь, вас не дозваться.

— Слушаю-с, — степенно ответил Прокофий.

— Да ты сейчас же поди и накажи Грише, а

то забудешь. Память-то тебе нынче изменяет...

Прокофий вышел.

— Ты, Елена, посылала в город за фруктами? — обратилась генеральша к Елене Никитишне.

— Все привезено, — ответила старуха. Мухортова вздохнула и обратилась к сыну:

— Вот Алексис упрекает, что на оранжереи тратимся. А какие у нас теперь оранжереи? Прежде все фрукты свои были, а теперь...

Потом она опять что-то вспомнила и обратилась к Елене Никитишне:

— Пожалуйста, Елена, присмотри, чтобы у всех были свежие перчатки. Прокофий совсем из ума выживает; в прошлое воскресенье бог знает в каких перчатках служил у стола, точно из трубы вынул, и все пальцы развороченные... Хорошо еще, что свои только были за обедом.

— Стар, совсем стар становится! — проговорила Елена Никитишна.

Егор Александрович горько усмехнулся.

— Я тебя впервые вижу такой взволнованной, — заметил он матери по-французски. —

Точно царей ждем к обеду...

— Ах, Жорж, мы переживаем такие решительные минуты! — с грустью и пафосом ответила она, закидывая голову назад. — Надо сделать все, чтобы это знакомство кончилось победой. Алексис еще раз вчера повторил мне, что мы на краю пропасти. Это ужасно!

Она на минуту закрыла рукой глаза, точно стараясь не видеть разверстой перед нею пропасти.

— Конечно, я уверена, что ты, если захочешь, одержишь победу. А все же как-то жутко. Алексис меня так запугал в последнее время, что мне все мерещатся какие-то ужасы. Сны даже страшные вижу... право!

Она взглянула на часы и испугалась: было уже одиннадцать часов, а на ней был еще надет утренний наряд. Ей нужно одеваться. У нее процесс одевания занимал всегда так много времени. Она встала и пошла поцеловать в голову сына.

— Бедный мой мальчик, я знаю, что и тебе нелегко, — сказала она томным голосом.

Он ничего не ответил, тоже поднявшись с места и выходя из столовой. Какое-то враж-

дебное чувство против матери шевелилось в его душе.

В столовой продолжался звон посуды. Елена Никитишна заставляла при себе перебрать все парадное серебро и хрусталь, чтобы убедиться в их чистоте. Потом она также тщательно освидетельствовала столовое белье. Пересматривая все, она в то же время перебрасывалась отрывочными фразами с приходившей и уходившей прислугой. На минуту в столовую забежал Гриша.

— Ты это что? Тебе приказано у ворот ждать? — сказала Елена Никитишна.

— Да я услышу, крестная! — ответил он.

— Ступай! ступай!

— А кого ждут-то?

— А вот приедут — увидишь!

— Важных господ?

— Ах, ты, постреленок! Говорят тебе: иди!

— Агафья Прохоровна говорит...

— Брысь, каналья!

Гриша скрылся.

— Видно, сегодня решать будут, — со вздохом обратилась Елена Никитишна к Прокофию.

— Что это решать? — спросил Прокофий.

— Сам-то не понял?.. Женить хотят Егора Александровича на Протасовой... Тоже нашли партию... Дед-то ее на моих глазах кабак со-держал... Егору-то Александровичу не хочет-ся, да женят... Дела-то уж очень плохи стали... Ну, смотри ты, старый, какие ты стаканы в бу-фет поставил?.. Ах, право, в хлеву бы вас дер-жать... На, перетри!..

Она вынула несколько невымытых стаканов и отставила их в сторону, придвинув к Проко-фию.

— Вот как-то только они нашу Полю при-строят? — со вздохом сказала она.

— Бить бы ее надо; косу выдрать, вот что! — сурово заметил Прокофий, порывисто перетирая стаканы.

— Дурак неотесанный, так дурак и есть! Пользы-то что за косу таскать? Красоты от этого ей, что ли, прибавится?.. Не доглядели, так уж теперь не воротишь!..

На минуту разговор оборвался. Прокофий сосредоточенно тер стаканы, ворча себе под нос: «Ишь, проклятые, как испакостились, не ототрешь!» Елена Ннкитишна углубилась в

пересмотр белья.

— Конечно, теперь Поле, может быть, и приданое, и все такое дадут, — продолжала Елена Никитишна. — Так-то тоже ничего бы не дали...

— Ишь чему обрадовалась! — проворчал Прокофий. — Стыда-то нет. Одной ногой в гробу стоишь, а такие речи говоришь!

— О, типун тебе на язык! Сам на ладан дышит, а других хоронит!.. — отплюнулась Елена Никитишна. — И какие я такие речи говорю? Ну, забаловалась девка, так этого не вернешь... Надо думать, как ее пристроить...

— Пристроишь! — отозвался сердито Прокофий. — Впервые у нас, что ли?

— Сама-то гуляла, так и другим потакаешь!

— Тьфу ты, тьфу! Пес старый! — обозлилась Елена Никитишна. — Нашел чем меня попрекать! Я, может быть, слезьми обливалась, когда меня на грех-то силой повели... Вы-то все только радовались тогда, потому через меня в люди вылезли... А теперь попрекать!.. На себя обернулся бы... Ты-то тоже знал, чай, кого брал...

Прокофий, в свою очередь, отплюнулся.

— С тобой не сговоришь! Покойницу в гробу, и ту не забыла...

— На твои же речи, дурак, отвечаю...

В эту минуту в комнату неторопливо вошел человек в черном фраке, в белом галстуке, с бакенбардами в виде котлет. Это был Данило Николаевич Волков, камердинер Егора Александровича. Сразу трудно было решить — лакей это или чиновник; степенность, сдержанность, солидность, внешняя порядочность, все это сразу бросалось в нем в глаза. Ему было лет двадцать восемь, хотя он смотрел гораздо старше своих лет. Лакейская жизнь не молодит, а он служил в лакеях с семнадцати лет. На его затылке уже виднелся зачаток плеша с медный пятак величиною.

— Прокофий Данилович, вас Егор Александрович зовут, — сказал он, обращаясь к Прокофию, и потом обратился к Елене Никитишне: — Выдайте шоколад, повар просил передать, что для мороженого нужно, да поскорей просил...

— Не горит, подождет! — ответила сухо Елена Никитишна. — До обеда-то еще далеко.

Данило Николаевич переминался с ноги

на ногу, не решаясь, по-видимому, о чем-то заговорить.

— Правда это, Елена Никитишна, что я слышал? — начал он. — Конечно, это Агафья Прохоровна болтает, а все же... Говорят, что Егор Александрович женится на Марье Николаевне Протасовой.

— А тебе-то что? — спросила Елена Никитишна, пытливо взглянув ему в лицо.

Он, подняв брови, сделал совсем скромную мину невинной овцы.

— Так-с... Мне что же! — ответил он и еще осторожнее и смиреннее прибавил:— Я только потому, что как же тогда Пелагея Прокофьевна?

Елена Никитишна даже оставила разборку столового белья и скрестила около талии руки.

— А Пелагея Прокофьевна тут при чем же? — сурово спросила она, и ее глаза сверкнули угрозой.

Но Волков выдержал ее взгляд и со вздохом заметил:

— Что же, шила в мешке не утаишь...
И тотчас же прибавил:

— И зачем это такую, с позволения сказать, сволочь генеральша допускает в дом, как эта Агафья Прохоровна или эта мать Софрония... И невинного человека этикие аспиды замарают, а не то, что... Тут уж, конечно, и со стороны видно...

Елена Никитишна презрительно усмехнулась.

— Ишь, какие глазастые выискались!.. А видишь, так и молчи...

— Это точно-с, — скромно согласился Данило. — Только жаль девицу... Такая, можно сказать, красавица и кротости...

Елена Никитишна еще презрительнее сверху вниз взглянула на него и спросила насмешливым тоном:

— Жениться, что ли, из жалости хочешь?

— Отчего же бы и не жениться? — почти радостно воскликнул лакей.

Елена Никитишна покачала головой.

— Губа-то, видно, не дура!..

Потом, отвертываясь от него, она проворчала:

— Нет, за такую-то невесту поклоняться нужно...

— И покланялся бы, — начал Данило.

Но она перебила его:

— Ну, ну, бери шоколад! Сам торопил, а теперь лясы точишь... Ступай.

Она говорила грубо, как привыкшая властвовать барыня с слугой. Волков взял плитки шоколаду и вышел. Его слова сильно взволновали Елену Никитишну, точно он открыл ей нечто новое. Продолжая рыться в буфете, она с порывистыми движениями ворчала про себя:

«Выискался какой! Губа-то, видно, точно не дура, язык не лопатка, знают, где сладко! Я бы не прочь жениться! Что и говорить: кусок лакомый! Софья Петровна и Егор Александрович Полю не оставят, приданое дадут, мужа пристроят. Кому это не лестно. А Данилке чего лучше! Так бы сейчас в купцы и полез. Скаред человек! Уж теперь, ничего не видя в холопском своем звании, на проценты деньги господам дает. Четвертную займут, две возвращают. Жоха! Далек пойдет».

На минуту она перестала перебирать вещи и с видом усталости присела, подперев голову рукой. Какая-то новая мысль вертелась в

ее голове.

«В самом деле, как это никому нам в голову не приходило, что за Данилу можно выдать Полю? Не за чиновника же ее выдать? — Да с чиновником и нужды натерпится, знаем мы эту дрянь; а Данило копейку сбережет, Поле-то только он по сердцу не придется. Ну, да и то сказать: кто ей теперь по сердцу будет, когда она от Егора Александровича в омрачении находится? Сердце-то у нее горячее, а рассудку нет. Обезумела совсем!»

Елену Никитишну неожиданно вывел из раздумья голос Поли. Молодая девушка, бледная, как полотно, пугливо озираясь, поспешно вошла в столовую и прямо обратилась к тетке:

— Тетушка, голубушка, вы здесь?.. Что я сейчас слышала от Агафьи Прохоровны и от Данилы... Ведь это неправда?..

— Что ты, что ты?.. Что слышала-то? — отрывисто проговорила Елена Никитишна, испуганная внезапным появлением племянницы и выражением ее лица.

— Да вот они говорят... будто Егор Александрович женится... что...

— Ну?

— Что эта самая Протасова и есть его невеста?

— Ну, да, женится, — ответила Елена Никитишна. — Тебе-то что?.. Ох, девка, девка, совсем ты ошалела!.. Понятиев лишилась... Ведь не на тебе же ему жениться... Вот то-то...

Поля страстно перебила тетку:

— Знаю, что не на мне!.. Да ведь он ее не любит!.. Какое же это счастье будет, если не любит?..

— А ты почему знаешь, что не любит? Может, и любит!

— Разве я не понимаю! Двух разом не любят... Уж это никогда!.. Да нет, может, это они со злобы... Не может этого быть... Навек он себя несчастным сделает...

Елена Никитишна рассердилась.

— Ах, дура, дура! Нашла о чем убиваться! Ты о себе-то думай! Надурила, так...

— Что я!.. Мне уж о себе нечего думать! Загубила себя... не воротишь... Мне умереть бы, если он...

— А ты не дури!.. Умереть-то еще успеешь, а пока жива, думай, как жить... Вот пристро-

им, замуж выдадим!

— Что вы, что вы, тетушка! — с ужасом воскликнула Поля, замахав руками. — Как замуж? Нет, уж не замужница я... Вы мне только скажите, слышали ли вы сами, что точно...

Елена Никитишна хотела что-то ответить и вдруг шепотом проговорила:

— Молчи... Сам Егор Александрович идет... Уходи!..

Действительно, с террасы в столовую входил Егор Александрович. Он обратился к Елене Никитишне.

— Елена Никитишна, вас мама зовет...

Потом, заметив Полю, он не без удивления сказал:

— И ты здесь?

Елена Никитишна заперла буфетный шкаф и направилась на половину Софьи Петровны.

Молодые люди остались вдвоем. Поля старалась скрыть свое смущение, свои заплаканные глаза.

— Что с тобой? — спросил Егор Александрович, не без тревоги. — Ты на себя не похожа!..

— Я?.. Нет... Это так, — ответила отрывисто Поля.

— Как так? Ты не здорова?

Он подошел к ней поближе. Она бросилась к нему.

— Егор Александрович... дорогой мой... скажите, скажите... ведь это неправда? — отрывисто спросила она, хватая его за руки.

— Что? — в волнении спросил он и тотчас же понял, что ей все известно. — А, тебе уже успели рассказать! Что же делать, Поля!.. Ты понимаешь, я не могу теперь на тебе жениться... Но верь...

Она страстно перебила его:

— Голубчик вы мой, я не о том!.. И в мыслях этого не было!.. Вот вам крест!.. Разве я не понимаю. Но как же на ней, на Протасовой... Вы ее не знаете...

— Что делать, Поля, — перебил он ее, в свою очередь. — Необходимость заставляет... она богата...

— Да разве в деньгах счастье?.. Не будете вы с ней счастливы... стубит она вас.

— Милая, ты все обо мне... Ты-то как...

— Я что! Вы обо мне не думайте... Себя вы

поберегите, добрый вы мой, хороший вы мой... Душу бы я за вас отдала, на все бы пошла.

Она покрыла поцелуями его руки. Он хотел ее обнять, расцеловать и боялся.

— Полно, полно, не волнуйся, — сказал он в смущении. — Мне надо идти... Сюда еще войдут, пожалуй... После... вечером приходи, когда уедут...

— Да вы не соглашайтесь!.. Бог с ней и с ее деньгами! — говорила Поля. — Успеете еще... найдете другую... За вас всякая пойдет... Будь у меня миллионы, я бы за вас пошла... Кажется, все, все отдала бы...

— Ну, после, после поговорим... Обоим нам не сладко...

Он торопился уйти от нее. Ему было страшно, что их могут застать здесь вдвоем.

Поля опустилась на стул, закрыв лицо руками. Она забыла, что здесь было не место плакать. Не прошло десяти минут, как в столовую снова завернул Данило Волков.

— Прокофий Данилович... Елена Никитишна, — проговорил он с порога и, точно удивляясь их отсутствию, прибавил: — Да где же

они? Все разбежались... А это вы, Пелагея Прокофьевна... Что это: плакать изволили? Да, да, все о том же... Вот дела-то какие вышли... Да вы не тужите!.. Замуж еще выйдете... Кажется, если бы вы мне словечко одно сказали, я бы... в огонь и в воду...

Молодая девушка порывисто встала. Ее лицо теперь выражало гнев и презрение.

— Да я лучше петлю на шею надела бы! — воскликнула она, быстро проходя мимо Волкова к выходу.

В его глазах сверкнула злоба.

— Ну, петлю-то успеешь еще надеть, а прежде замуж вот за меня выйди, — проговорил он с иронией. — Другого такого-то случая я в десять лет не дождусь, а она — петлю на шею!.. После давишь сколько угодно, когда замуж выйдешь...

По его лицу скользнула недобрая, циничная усмешка...

IV

Нетерпеливо ожидаемые гости уже съехали к Мухортовым. Софья Петровна в качестве светской женщины умевшая вообще быть любезною хозяйкой, на этот раз, казалось, старалась превзойти себя. Она заметила Марье Николаевне Протасовой, что та «сегодня просто очаровательна»; она дала обещание Ольге Евгениевне попробовать повертеть с нею столы; она кидала умоляющие взгляды на сына, чтобы побудить его начать атаку богатой невесты. Алексей Иванович Мухортов, его жена и дети, в свою очередь, делали все зависящее от них, чтобы внести в общество оживление и в то же время оставить как-нибудь Егора Александровича одного с Марьей Николаевной. Им очень хотелось, по доброте душевной, спасти и пристроить «Егорушку». Вся семья считала его «таким глупеньким», так как он вечно только книжки читал. В то же время они искренно любили его за доброту.

Позже всех приехал Протасов. Это был высокий, державшийся очень прямо, еще не ста-

рый мужчина с серьезным и холодным лицом. Он, видимо, старался казаться англичанином — это проглядывало в покрое его одежды, в его прическе, в его рассчитанно-сдержанных манерах. С первых же слов он повернул фразу: «в бытность мою в Лондоне», и потом много и дельно говорил о коммерческом гении Англии. Англия, где он случайно провел лучшие годы ранней юности, — почти детства, — была его коньком.

Обед прошел довольно оживленно и весело, так как все Мухортовы наперерыв старались показать, что в их семье все люди «добрые малые». Это был своего рода подкуп. Как только кончился обед, Протасов обратился к Алексею Ивановичу, напомнив, что последний хотел показать какие-то новые машины Мухортовых. Алексей Иванович начал объяснять чуть ли не в сотый раз Протасову, что Мухортово, в сущности, золотое дно, но что для «постановки» его нужно затратить не один десяток тысяч. Поясняя это, Алексей Иванович имел в виду еще раз доказать Протасову, что сделка, то есть брак молодых людей, представляет выгоды для обеих сторон:

Протасов даст деньги, Мухортовы поднимут имение. Кроме того, для Протасова имела, конечно, еще большее значение и родственная связь Мухортовых «с дядей Жаком». От «дяди Жака» в значительной степени зависели все коммерческие предприятия Протасова. Старики всесторонне и осмотнительно обсуждали этот вопрос, как будто дело и точно шло не о женитьбе, а о денежной сделке — и только. Жена Алексея Ивановича, Софья Петровна, и Ольга Евгениевна тотчас же после обеда уселись играть в карты. Сын и дочери Алексея Ивановича вдруг куда-то ускользнули, и Егор Александрович волей-неволей очутился с глазу на глаз с Марьей Николаевной. Ему нужно было быть любезным с молодой девушкой и «подвинуть дело вперед». Это было не особенно легко сделать на этот раз. Марья Николаевна явилась с отцом к Мухортовым в таком настроении, что Егор Александрович сразу вспомнил о том, что эта девушка иногда уходит, как улитка, в свою раковину. Это настроение было заметно не только по выражению ее лица, по ее вялым манерам, но даже и по тому, что она, несмотря на теплый весенний

день, куталась в наброшенный на ее плечи тонкий оренбургский платок, точно ее знобило.

— Вам сегодня, кажется, нездоровится? — спросил ее Мухортов, когда они остались вдвоем.

— Мне?.. Нет! — рассеянно ответила она. — Холодно что-то... Это со мной часто бывает... Станет вдруг так скверно на душе, тоскливо... а потом дрожь начинает пробирать... С вами этого не случается?

— Нет.

Они помолчали.

— Пройдемтесь по саду, — предложил Егор Александрович.

Она лениво и апатично поднялась с места и пошла с ним.

— Это с вами и в детстве случалось, — сказал он. — Вы часто у нас то резвились не в меру, то вдруг как-то съеживались, уходили в себя...

Она бросила на него мимолетный взгляд.

— Вы разве это еще помните? — спросила она не без удивления.

— О, как же! — поспешно сказал он и при-

бавил: — Воспоминание о вас живо сохранилось в моей памяти...

Она грустно остановила его:

— Полноте!.. Зачем фразы! Ни в ком я не оставила живых воспоминаний...

Он хотел что-то возразить, но она прибавила:

— Я слышала от Павлика, Зины и Любы, что вы мягкий и добрый человек, но это вовсе не обязывает вас помнить о девочке, которая только тем и была замечательна, что ее считали *mal élevée*, да называли жалкою...

Он не нашел, что ответить ей; его поразила ее глубоко грустный тон, хватавший за сердце. Они прошли несколько времени молча. Она заговорила первая.

— Как тяжело сознавать с самого детства свое одиночество, свою отчужденность, — проговорила она. — Я никогда никого не любила и всегда чувствовала, что никто не любит меня. Иногда забудешь это и являешься какой-то дико бесшабашной, а потом опять вспомнится это, и съежишься, уйдешь в себя, пробирает дрожь... Растить без любящей матери — это истинное несчастье для человека...

особенно для девушки...

— Но как же вы говорите, что вас никто не любил? — сказал Мухортов. — У вас были отец, тетки, подруги...

Она нетерпеливо пожалала плечами.

— Отец — делец; он, может быть, любил бы сына, но меня, дочь, — он почти не обращал на меня внимания; тетки — они, кажется, родились с поврежденными мозгами; подруги же, которых мне давали отец, стремившийся в высший круг, и тетки, не забывшие, что они принадлежат к потомкам хоть и захудалого, но все же древнего рода, — разве эти подруги могли любить дурно воспитанную девочку?..

Она усмехнулась.

— У меня, правда, есть одна подруга, которую я люблю и которая меня любит, но, к несчастью, с ней о многом нельзя говорить; она многого не понимает...

— Кто же это?

— Дочь моей кормилицы, бывшей потом у нас коровницей... Я в детстве любила бегать смотреть, как доят коров, и пить парное молоко... Здесь я познакомилась с дочерью мамки... Она двумя годами старше меня... мы с

ней и теперь дружны... Это единственный человек, любящий меня... она и ее сынишко, мой крестник... Она уже три года как замужем...

— Да, это грустно, — сказал Мухортов. — Но ваша жизнь впереди... вы еще полюбите... выйдете замуж...

Он в смущении оборвал речь, казалось, он и сам испугался своих слов, и испугал ими свою собеседницу. По ее лицу скользнула горькая усмешка.

— Замужество в моем положении не что иное, как простая сделка, — ответила она просто. — Я выгодная невеста.

Мухортова точно кольнуло в сердце. Он заметил горячо:

— Так нельзя смотреть! Разве вы не можете полюбить, разве вас не могут полюбить? Если смотреть с вашей точки зрения, то нельзя и верить.

— Я и не верю, — ответила она сухо.

Он растерялся. Для чего это она говорит? Или она поняла его намерение и хочет сразу прекратить всякие искательства с его стороны? Значит, все кончено? сорвалось? Ему бы-

ло стыдно. Он не привык играть унижительные роли. Они шли и молчали. Это молчание становилось тягостным. Она опять заговорила первая.

— И что хуже, что обиднее всего, — сказала она, и в тоне ее послышались и горечь, и презрение, — так это то, что те, которые сватаются за меня, даже не доставят себе труда сделать так, чтобы я поверила им... Им даже этого не нужно: им нужно взять приданое, а люблю ли я их, доверяю ли я им — им все равно... У меня ведь много уже было женихов: увидит человек раз или два и идет к отцу просить моей руки... Еще счастье, что отец дал мне, наконец, полную свободу...

Мухортов испытывал нечто такое, как будто ему давал кто-то пощечину за пощечиной. Он был бледен и серьезен.

— Вы знаете, я ведь уходила от него, — продолжала она. — Шесть месяцев прожила в углу у своей Марфуши... Сделала скандал на весь уезд... Отец не выдержал и сдался.

Она усмехнулась.

— Напрасно поторопился... сама бы пришла с повинною... Я ведь все же белоручка,

и крестьянский труд не под силу мне... Вон жать пробовала, так чуть руку не отрезала...

Она подняла свою тонкую, прекрасную руку и указала на белый шрам.

— Где уж нам бороться с нищетой! — со вздохом сказала она.

Они медленно возвращались к террасе. Когда слышались их шаги на ступенях террасы, все присутствующие обернулись с сияющими и вопросительными лицами к молодым людям, прервав оживленный разговор о том, что имение Мухортовых превосходно и может дать при хорошем хозяйстве отличные доходы, и о том, что дядя Жак все может сделать, что захочет, а он захочет сделать все, о чем его попросит Софья Петровна. Этот оживленный разговор, сопровождаемый веселым смехом, прямо приводил к тому, что сделка выгодна для обеих сторон и должна состояться непременно, если только молодые люди пойдут на нее, а что они пойдут на нее — в этом никто не сомневался. Недаром же они так долго загулялись с глазу на глаз. И все точно окаменели, увидав этих приближавшихся к их группе молодых людей: впереди

шла Марья Николаевна с побледневшим лицом, с грустно опущенными вниз глазами, кутаясь в свой платок; за нею шел медленными шагами Егор Александрович, также бледный и необычайно серьезный, почти суровый. Софья Петровна пугливо взглянула на Алексея Ивановича; тот передернул плечами.

— А мы вас искали, искали! — заговорили барышни Мухортовы, подбегая к Протасовой.

— Да? — каким-то странным тоном спросила она. — Зачем же?

— Да как же, скрылись вдвоем...

— И вам стало страшно за меня? — спросила с иронией Протасова.

Алексей Иванович между тем сорвался с места и, забыв всякие приличия, уже шепотом расспрашивал Егора Александровича:

— Ну, что, что?

— Нужно быть подлецом, чтобы просить ее руки! — ответил коротко Егор Александрович.

Толстяк в изумлении развел руками...

Третья глава

I

Стояла душистая, тихая и беззвучная весенняя ночь. Мухортовский сад был весь залит лунным светом. На террасу правого флигеля отворилась дверь, и лунный свет озарил две фигуры. Это были Егор Александрович и Поля. Он был в белом кителе, она в светло-сером платье. Они ярко выделялись среди зелени расставленных на террасе растений, стоя в отворенных дверях, как в раме, окруженные золотистым фоном освещенной комнаты Мухортова. Послышался страстный шепот прощания.

— Милый, дорогой мой, так не женитесь? Не женитесь на ней?

— Нет, нет, я же сказал тебе.

— И меня не бросите?

— Поля! Как тебе не грех!

— Знаю, знаю!..

Она порывисто обвила в последний раз его руками, горячо поцеловала его и скользнула

неслышными торопливыми шагами с ступеней терраоы. Он постоял с минуту, смотря, как мелькало ее светлое платье среди деревьев, потом вздохнул и вошел в комнату. Он запер дверь, прошел в раздумье по кабинету и остановился перед письменным столом. Здесь стоял акварельный портрет старика с развевавшимися в стороны седыми волосами, с воспаленными старческими глазами. Всматриваясь в этот портрет, Егор Александрович становился все грустнее и грустнее. Этот старик был единственным человеком, знавшим душу Мухортова. Впервые теперь Егор Александрович почувствовал, что он одинок, вполне одинок. Одиноким он был везде и всегда: в обществе матери, в кругу товарищей, даже на свиданиях с только что ушедшей девушкой. Он задумался о ней. Что она давала ему? Ласки, поцелуи, страстные наслаждения, и только! Ее не интересовал его душевный мир, так как она его не понимала; его не заинтересовали бы, вероятно, ее интересы, если бы они были у нее, но у нее их вовсе не было, так как она вся жила одной любовью к нему, к Егору Александровичу. Невольно в памяти

Мухортова воскресло прошлое...

Нечто странное, небывалое совершилось в его душе. Еще несколько дней тому назад он думал о своей женитьбе «по расчету» на почти незнакомой ему девушке с брезгливостью, но и только. Ему гадко было сознаться, что он должен жениться на первой встречной ради поправления своего материального положения, но тем не менее он готов был идти на эту сделку как на нечто неизбежное. Он не задумался даже о том, насколько счастлива будет избранная им девушка. И стоило ли об этом думать? Десятки молодых людей из его круга женятся так, и их жены счастливы. В подобных браках никто не видит ничего выходящего из ряда вон, ничего чудовищного. И вдруг, когда все окружающие его, Егора Александровича, были убеждены, что ему стоит сделать шаг, и все будет кончено, с его языка ворвалась фраза: «Нужно быть подлецом, чтобы сделать ей предложение». Почему? Он сам не сознавал этого, когда произнес эту фразу. Она не была плодом серьезного размышления, плодом определенного убеждения; она сорвалась у него с языка под влия-

нием какого-то смутного ощущения стыда за свое намерение; этот стыд был вызван первой откровенной беседой с этой девушкой. Егор Александрович впервые почувствовал, что есть люди, перед которыми стыдно лгать. Ему теперь казалось, что если бы он стал лгать перед Протасовой, то ему было бы больно, физически больно; эту боль он испытывал теперь при одной мысли о необходимости лгать. Это было странное, непонятное для него ощущение, но оно было в нем. В его воображении рисовалась теперь ярко картина, как он пришел бы просить руки Протасовой, как он стал бы говорить о своей любви, как вспыхнуло бы от стыда его лицо, а она — она, сознавая, что он лжет, взглянула бы на него с болезненным упреком. Он уже подметил этот взгляд, полный грусти и горечи, когда он попробовал сказать ей, что помнит ее еще ребенком. Он покраснел и смутился от этого взгляда; еще больше смутился бы он, когда пришлось бы настойчиво лгать о своей любви. Но Протасова не ограничилась бы одним этим взглядом, она прямо сказала бы ему: «Вы ведь вовсе, не любите меня!» О, тут можно провалиться

сквозь землю. Нет, никогда, никогда он не сделает подобного шага; хотя бы пришлось умереть с голоду...

Умереть с голоду... Впервые Мухортов взглянул вполне серьезно на свое положение, и на него напал панический страх. До этого времени он жил, как тысячи разных матушкиных сынков: в доме шла широкая жизнь, мать и сестры, дяди и тетки, кузены и кузины, все сорили деньгами направо и налево, не подводя итогов, черпая пригоршнями деньги из неиссякаемого источника всяких благ — из имений: случался неурожай — в имение писалось о продаже леса; недоставало и этого — имение закладывалось; проедалась ссуда — имение закладывалось во вторые руки. Известие о том, что неиссякаемый источник иссяк — было совершенной неожиданностью, каким-то страшным сном, от которого хотелось пробудиться и со смехом увериться, что это невозможно в действительности. Теперь Егор Александрович уже понимал, что это не сон, что это страшный, неотразимый факт. Какое-то горькое чувство шевельнулось в его душе против матери. Она

легкомысленно тратила деньги без счета и приучала сына к тому же мотовству. Правда, он не сделался таким мотом, каким он мог бы сделаться при такой системе воспитания, но тут мать была ни при чем, тут явился на помощь юноше случай. Два года у Егора Александровича болели глаза, так что ему почти нельзя было заниматься. Доктор, призванный к двенадцатилетнему ребенку, сказал: «О, эти глаза с поволокою прелестны, но очень опасно шутить с ними; мальчик должен оставить на время ученье, иначе он может ослепнуть». Ученье было оставлено, и к мальчику был приставлен гувернер, долженствовавший, насколько возможно, развивать и учить ребенка, не давая ему в руки книг. С этой минуты начался новый фазис в развитии ребенка. Гувернер, старый швейцарец, стал много гулять с мальчуганом и еще больше читать ему вслух. Долгие прогулки посвящались серьезным беседам, объяснениям, ознакомлению с природой и людьми; долгие чтения открывали перед мальчиком новый мир человеческой мысли. Жером Гуро держался того убеждения, что для ребенка хорошо всякое вели-

кое произведение, если ребенок его хотя сколько-нибудь понимает, и потому читал мальчику не одни какие-нибудь сказки Перро или Робинзона, а познакомил его и с «Королем Лиром», и с «Макбетом», и с «Дон-Кихотом», и с «Разбойниками». На пятнадцатом году Жорж Мухортов был знаком серьезно и основательно со всем, что создали лучшего великие гении-писатели. Он их любил страстно, как можно любить только лучших друзей в лучшие годы жизни. Он бежал от шумных собраний к этим друзьям и к тому, кто познакомил его с этими друзьями, к старику с широкими красными руками, с слезящимися от избытка чувствительности и от старости глазами, с включенными седыми волосами, с небрежным туалетом — то с развязанным галстуком, то с запачканной нюхательным табаком манишкой, то с расстегнутыми пуговицами у брюк. Софья Петровна начинала приходить в ужас: ее Жорж не умел держать себя в обществе; ее Жорж был дикарем; ее Жорж был неряшлив. Надо было отпустить поскорей этого противного старикашку Гуро, выжившего из ума; надо было отдать

Жоржа в кавалерийское училище, чтобы лошади заставили забыть разных философов, а верховая езда придала ловкость онемевшим среди сиденья за книгами членам. Егор Александрович живо помнил минуту прощания с Гуро. У старика дрожали губы, когда он стал говорить своему воспитаннику приготовленное накануне, как приготовляются проповеди пасторов, витиеватое прощальное слово, а впалым щекам его медленно текли слезы, более красноречивые, чем слова.

— Ты умен, — говорил старик, — остроумен даже. Но, мой друг, сколько умных и остроумных людей были злодеями. Воспитавай в себе добрые чувства и честность. Вот что всего нужнее в жизни для всякого, для простого смертного и для гения. Лучше бы не родиться гению, если он не любит человечества, если он не знает чувства чести. От ошибок не застрахован никто, но, сделав ошибку, старайся, по возможности, исправить ее и, главное, следи за собою зорко, чтобы не сделать сознательно злого и бесчестного дела...

По мере того, как старик говорил, губы его вздрагивали все сильнее и сильнее, слезы ка-

тились обильнее по щекам, наконец, он совсем потерял способность произносить слова и, не докончив своей затверженной еще накануне речи, поднял старческие, трепещущие, красные руки на голову юноши.

— Видит бог, что я желал тебе добра, — прошептал он, разом оборвав недосказанную речь.

Жорж схватил его руки и покрыл их поцелуями, рыдая навзрыд...

Спустя час, когда он, немного успокоенный, вошел в гостиную, мать заметила ему с презрительной усмешкой:

— Фи! Тебя табаком перепачкал monsieur Гуро!

И она с гадливой гримасой указала на табачное пятно, оставленное на сорочке юноши. Жорж вспыхнул и почти с ненавистью проговорил:

— Какая ты бездушная!

Потом он повернулся и вышел вон. Ему казалось, что мать его глумилась над святыней лучших чувств, толкуя в такую тяжелую для него минуту о каком-то пятне на сорочке...

Но как далеки были эти годы, эти чувства

теперь! Великих гениев сменили лошади; жизнь в тишине библиотеки заменилась жизнью в манеже; беседы с чудачком философом отодвинулись куда-то далеко перед сальными рассказами о преждевременном развороте золотой молодежи. Недавно еще все будило ум, теперь все пробуждало чувственность. И вечная верховая езда, и скабрзные разговоры, и сальные карточки, и приятельские пирушки, и бальная атмосфера, пропитанная запахом одуряющих духов, полная голых женских рук и плеч, — все, казалось, было приспособлено к тому, чтобы даже мечтатель-юноша мало-помалу превратился в разнузданное животное, отдающееся только всем своим похотям. Известная чистоплотность, известное физическое отвращение к женщинам, к которым ездят все и каждый, иногда целыми партиями, спасали долго Егора Александровича от разворота. Но это же довело его до того, о чем он вспоминал иногда просто с ужасом, до сближения с Полей. Он не искал себе оправданий за этот проступок в том, что он сошелся с ней случайно, не думая, не гадая, не ухаживая за ней, а просто в мину-

ту страстного возбуждения; он не оправдывал себя и тем, что она сразу отдалась ему, без сопротивления, с увлечением, так как она чуть не с детства была влюблена в него; он не старался успокоить свою совесть и тем, что девушка знала, на что она идет, и шла добровольно, говорила, что в этой любви было все ее счастье, что больше ей ничего не нужно. Он сознавал только то, что ее жизнь навсегда испорчена им и что загладить своей ошибки он не может. Жениться? Эта мысль ни на минуту не приходила ему в голову, так немислим был этот союз, вследствие различия его и ее положений. Продолжать вечно жить с нею в незаконной связи? Именно это в порыве увлечения обещал он ей, говоря, что он ее никогда не бросит; этим удовлетвовалась бы вполне она. И вдруг нежданно-негаданно, по видимому, без всяких внешних поводов он остановился теперь на вопросе: может ли его удовлетворять всегда этот союз? Что связывало его с этой девушкой? Она приходила к нему, или он пробирался к ней, начинались поцелуи и ласки — и только. Это была чисто физическая связь. Она не поняла бы ничего

из того, что интересовало его, о чем он думал, над чем он просиживал целые ночи; он ни разу не заглянул в ее душевный мирок, и, может быть, даже боялся заглянуть в этот мирок, опасаясь встретить там ту страшную пустоту, какую можно найти у девушек ее положения. В этом мирке не было ни страстных стремлений к чему бы то ни было, ни заветных надежд и желаний, ни глубоких дум о каких бы то ни было вопросах, людских отношениях; девушка росла в барских хоробах, была одета, обута, сыта; ее баловали и ласкали все; никто, в сущности, не задумывался о ее судьбе; все знали, что ей хорошо живется, что она выйдет впоследствии замуж, если подвернется подходящий человек, а подходящий человек непременно подвернется, так как она была хороша и скромна, за ней дадут хорошее приданое и даже пристроят жениха, если будет нужно. Оторванная от народа и не представшая ни к какому кругу людей, о чем могла она думать, кому могла она сочувствовать? Если с некоторых пор о чем-нибудь и начала думать эта девушка, так это о красоте, о добре, о ласковости молодого барина. Когда впер-

вые стала она заглядываться на него? — она не давала себе отчета в этом, но, должно быть, давно. По крайней мере она сама не помнила того времени, когда бы он не казался ей лучше и милее всех людей. Стоило ему случайно натолкнуться на нее и, под влиянием молодого возбуждения, приласкать ее, чтобы она сама бросилась в его объятия. С этой минуты мысль о нем наполнила весь ее душевный мир, она ходила как бы в сладком полубытьи, с светлой улыбкой на лице, нося в душе только его образ, только воспоминания о каждом его слове, о каждой его ласке. Теперь Егор Александрович, как-то помимо своей воли, задумался над вопросом; «Что же будет с ней, если мне придется ее оставить?» Оставить? Зачем же? Но нельзя же продолжать эту связь, когда женишься? Отчего нельзя? Еще чуть ли не вчера он был убежден, что можно. Но это гнусно обманывать молодую жену, отдающуюся своему мужу с полной верой в его любовь. Почему же это кажется гнусным сегодня и не казалось гнусным вчера? И, наконец, именно сегодня ему нечего вообще задумываться об этом вопросе, так

как предполагавшаяся женитьба не может состояться, искать же еще новую невесту с крупным приданым он вовсе не думает. Он даже не понимает, как он вообще согласился попробовать идти на эту сделку? Ну, а что же делать, если не идти на эту сделку! Работать, как советовал дядя? Да разве он умеет так работать? В душе Мухортова поднималась какая-то горечь. Он то ходил в раздумье по своему кабинету, то бессознательно останавливался перед письменным столом и глядел на портрет Жерома Гуро.

— Что бы ты сказал, старина, если бы заглянул в мою душу? — проносилось в голове Егора Александровича.

Старик смотрел на него кроткими и добрыми глазами. Егору Александровичу стало невыносимо тяжело. Он снова и снова сознавал, что подле него теперь нет решительно ни одного человека, могущего поддержать его, как когда-то поддерживал его Гуро. А поддержка была так нужна именно теперь. Он стоял над обрывом, один неверный шаг, и он мог погибнуть нравственно, погибнуть, презирая самого себя за гнусные сделки со своею

II

Софья Петровна дала слово Протасовым приехать к ним на обед через три дня. Она напомнила об этом обещании сыну. Он с озабоченным видом, думая о чем-то другом, коротко заметил ей:

— Я поеду, но мне кстати по дороге надо будет заехать к дяде, потолковать о делах.

— О делах? — с удивлением спросила Мухортова.

— Да, надо же взглянуть когда-нибудь беде прямо в глаза, — ответил сын. — Ведь мы только толкуем о том, что мы стоим на краю пропасти, а в сущности мы даже не знаем, стоим ли мы только на краю ее или уже летим в нее неудержимо вниз головою...

Генеральша томно и медленно вздохнула.

— Ах, лучше и не заглядывать туда... — ответила она, закрывая на минуту глаза рукою. — Но я надеюсь, что ты произвел впечатление на Мари...

Сын сделал нетерпеливое движение. Он избегал всяких разговоров с матерью об этом

щекотливом предмете, чутьем угадывая, что мать не поймет его чувств.

— Я не желаю ни покупать невесты, ни продаваться, — ответил он коротко и сухо.

Мать испугалась и широко открыла глаза.

— Разве ты раздумал?.. Да нет, это невозможно!.. Дядя же говорил, что другого исхода нет, — заговорила она растерянно. — Ах, Жорж, неужели эта связь мешает тебе?.. Ведь нельзя же, милый!..

— Не будем покуда говорить об этом, — перебил он, по-прежнему коротко и сухо, как бы отрывая всякую возможность к продолжению разговора.

Мать и сын отправились к Протасовым. Немного в стороне было имение Алексея Ивановича. Доехав до него, Егор Александрович приказал кучеру остановиться и сказал матери, что он явится к Протасовым через час, через два, пешком. Он направился к дому дяди.

Старик Мухортов в своем коломянковом сером балахоне стоял на надворном крыльце и о чем-то горячо спорил с двумя работниками, сильно жестикулируя и пересыпая речь отборною непечатною бранью, поминая и сы-

новой, и матерей. Он кричал так громко, что его голос был слышен издалека. Он очень удивился, увидав племянника.

— Я тебе помешал? — спросил Егор Александрович.

— Нет, я уже кончил... Хозяйственные распоряжения кое-какие делал, — ответил старик.

Молодой человек слегка улыбнулся.

— А я думал, что ты уже там, у своей престлестницы, — сказал старик. — Надеюсь, что блажь-то прошла из головы! И с чего ты взял, чудака, отказываться?..

— Я заехал поговорить с тобой о деле, — проговорил Егор Александрович, не отвечая на вопрос.

— О деле? О каком таком деле? — удивился дядя.

— Пройдем в дом, — сказал Егор Александрович.

Старик наскоро отдал последние строгие приказания работникам, пригрозив опять и «бараньим рогом», и «местами, куда Макар телят не гоняет, а ворон костей не заносит», помянул еще раз родителей и сродственни-

ков и повел племянника в свой кабинет. Здесь было целое столпотворение: массы бумаг, шнуровых книг, образцы каких-то семян, картофеля, какая-то машина, спичечные коробки разных образцов — все это было нагромождено так, что трудно было отыскать свободное место на стуле или на диване.

— Ну, какие такие дела могут быть у тебя, Егорушка? — спросил шутливо дядя, отирая пот. — Вот у нас так дела! С утра сегодня с работниками всех родителей поминаю и не могу доказать подлецам, что цены им не след поднимать, если зиму голодать не хотят...

— Не можешь ли ты обстоятельно выяснить положение наших дел? — спросил племянник, не слушая его.

— Ха-ха-ха! Вот выдумал! Чего тут выяснять: прогорели совсем, вот и выяснение, — ответил дядя таким тоном, точно он говорил о какой-нибудь комической истории. — Впрочем, ты должен это знать, так как я все подробно писал твоей матери.

— Ты думаешь, она читала твои деловые письма? — сказал Егор Александрович с презрительной усмешкой.

— Ну, а ты?

— Я никогда не вмешивался в дела.

— А кутить умел?

— Ты ошибаешься... Я жил, относительно, очень скромно... Но дело не в том... Мне нужно знать точно и определенно, можно ли вернуться в нашем положении... К сожалению, мне ты никогда и ни о чем не писал... и я теперь не знаю, что начать...

— Да ведь это решенный вопрос: ты женишься...

— Я сказал, что я не женюсь, — коротко ответил Егор Александрович. — Мне нужно знать, есть ли другой исход?

— Да ты с ума сошел! — воскликнул старик почти с испугом. — В какое положение ты меня ставишь перед Протасовым. Ведь он на это рассчитывает...

Он хотел что-то сказать еще, но Егор Александрович перебил его:

— Можно ли покрыть долги продажей большей части имения, оставив себе такую часть, которая давала бы средства к скромному существованию?

— Да ты что задумал, Егорушка? — спросил

с тревогой старик, кажется, серьезно подозревая, что молодой человек сошел с ума.

— Видишь ли, что. Я хотел бы честно расплатиться с долгами. Если у меня останутся кое-какие крохи, я поселюсь здесь, бросив службу в полку. Здесь со временем можно будет, конечно, пристроиться как-нибудь, если я попривыкну к здешней жизни...

Дядя смотрел на него широко открытыми глазами. Это было для него нечто новое.

— А мать?

— У матери есть пенсия...

— Но она же не привыкла кое-как жить, замашки широкие...

— Мало ли у кого какие замашки, но если другого выхода нет... Впрочем, дядя Жак питает к ней такие родственные чувства, что не оставит ее, — сказал молодой Мухортов, и какая-то нехорошая нотка прозвучала в этих словах. — Я серьезно прошу тебя сообразить все, что можно сберечь, ликвидируя дела... Я хочу расквитаться навсегда с долгами, но мне надо знать, с чем я могу начать новую жизнь. Если не останется ровно ничего, то мне, конечно, нечего и думать об отставке, а придет-

ся перейти в армию и не думать об университете. Это нужно решить на днях же, так как в гвардии я во всяком случае не могу больше служить...

Алексей Иванович потер рукою потный лоб, точно он все еще не мог сообразить вполне того, что происходит.

— Право, Егорушка, в толк я ничего не возьму, не ожидал я от тебя этого, — говорил он, ходя по комнате. — Как же так, все уладили, все пошло, как по маслу, и вдруг... У нас тоже с Протасовым свои планы были... этакая неловкость выходит... Да тебе и не выжить тут... Где тебе!

— Да ты же меня совсем не знаешь, — просто заметил Егор Александрович. — Наконец это мое дело: выживу я или нет. Ты только сообрази чисто деловую сторону; я сделал бы это и сам, но все бумаги, касающиеся имения, у тебя, я ничего тут не соображу один...

Егор Александрович говорил спокойно и серьезно. Алексей Иванович раза два снова наводил речь на женитьбу, но племянник упорно подтверждал, что он никогда не женится на Протасовой, хотя бы ему грозила ни-

щета. Почему — этого он не объяснял, сказав просто, что он не любит ее, а жениться без любви он не намерен. Старик только покачивал головой и наконец со вздохом заметил:

— Смотри, Егорушка, не прогадай! После близок будет локоть, да не укусишь... А впрочем...

По лицу старика скользнула ироническая улыбка.

— Попробуй... поскочи по-нашему... Скоро вы устаете, питерские франты...

Егор Александрович ничего не возражал и стал прощаться с дядею.

Он пешком направился к Протасовым. Они жили в старинном помещичьем доме. Дом принадлежал когда-то трем теткам Марьи Николаевны, сестрам ее матери, девицам Адауровым. Дом производил неприятное впечатление по своей скучной архитектуре, — это была какая-то прямолинейная большая казарма, выкрашенная казенной желтой краской с белыми плоскими колонками около подъезда, с прямыми окнами. За домом тянулся столетний мрачный и однообразный парк. В комнатах веяло тою же строгостью,

однообразием и скукою. Старинная тяжелая мебель стояла «по ранжиру», точно выросла в пол. Белый зал в два света казался приемной комнатой в каком-нибудь присутственном месте. В гостиных выцветшие штофные стулья и диваны, казалось, были набиты не волосом, а кирпичами. Но каждая вещь говорила, что все это стоит здесь «со времен очаковских и покоренья Крыма». Три тетки Марьи Николаевны Протасовой: Аглая, Серафима и Ольга Евгениевны Ададурины тоже больше напоминали век Екатерины, чем наше время. Чванные, сухие, отдалившиеся от всего живого, старые девы в своих ярких платьях и в давно вышедших из моды кринолинах были бы очень смешны, если бы от каждого их слова не веяло скукой. Они жили с незапамятных времен в своем имении; было время, когда они чуть не потеряли этого имения, проев последние крохи; в это время явился к ним на помощь Протасов, посватавшийся за их младшую сестру. Долго колебались они согласиться на этот неравный брак, но перспектива разорения и продажи имущества заставила их принести эту «жертву». Младшая Ададурина

вышла за Протасова, имение было приведено в порядок; Протасов же, кроме хорошенькой жеиы, приобрел довольно сильные связи и протекции в Москве, где Ададуровы всегда проводили три зимних месяца ежегодно. Протасов овдовел давно, обзавелся в Петербурге побочной семьей, и его дочь росла под надзором трех старух-теток, не умевших никогда справиться с девочкой. Они говорили со вздохами, что в ней сказывается плебейская кровь, когда она убегала к деревенским мальчишкам и девчонкам, лазила на деревья, играла в лошадки или ходила в поле жать с бабами. Тетки чуть не прокляли ее, когда она почти ребенком, года полтора тому назад, вдруг убежала от них из Москвы от какого-то престарелого жениха генерала и приютилась у своей подруги-крестьянки. Эта история наделала шуму, смутила даже вечно холодного и невозмутимого Протасова. Отыскав дочь, он попробовал пригрозить ей, но сразу наткнулся на железную волю, на характер такой же твердый, как его собственный. Старик сдался и раз навсегда дал слово не приневоливать дочь в деле замужества. Это все, что отвоева-

ла она себе. С той поры ей стало дышаться легче и вольнее, хотя скука и тоска остались прежние.

В гостиной Ададуриковых, пройдя через анфиладу пустынных комнат, Егор Александрович застал трех раскрашенных хозяек дома, свою мать и двух каких-то измятых и пожелтевших старцев со звездами на груди. Оба старца говорили, пришепетывая, и глубокомысленно пережевывали свои губы в минуты молчания. Они говорили о событиях времен Александра Благословенного и сообщали анекдоты, смешившие людей лет пятьдесят тому назад. С первого раза Егору Александровичу показалось, что он попал в кабинет движущихся восковых фигур, где показываются публике представители прошлых веков. Несмотря на жаркий весенний день, окна в гостиной были заперты, так как один из старцев, маленькое и распухшее, как от водянки, создание, прерывая свои анекдоты, замечал:

— А все-таки здесь откуда-то дует. Ты замечаешь, Пьеруша?

Причем другой старец, длинный и худой, как палка, владевший только одним огром-

ным глазом, обводил взглядом комнату, ворочая на длинной и тонкой шее свою голову, как на пружине, и произносил:

— Да, Женюша, дует! Но все заперто! Странно!

Это были графы Пьеруша и Женюша Слытковы, два близнеца, прожившие до пятидесяти лет под опекой матери. Когда настал год их совершеннолетия, они просили оставить мать их опекуншею, «так как, — писали они в прошении об опеке, — они по слабоумию сами управлять делами не могут». Эта опека прекратилась, когда им минуло пятьдесят лет, — прекратилась за смертью матери, которую они горько и долго оплакивали, хотя все их беседы с нею сводились к тому, что она спрашивала их: «Ведь вы у меня глупыши?» Они же отвечали ей: «Да, глупенькие!» Тем не менее глупыши достигли до чина тайных советников, ни разу, впрочем, не посетив того присутственного места, где числились на службе. Злые языки в свете говорили, что им дали чины за девственность и благонравие. Они остались на всю жизнь старыми холостяками, ни разу не разлучались друг с другом,

жили одиноко, по виду напоминали скопцов, и только в последнее время у них поселился сын их покойной сестры, камер-юнкер Николай Александрович Томилов, известный в кругу знакомых и родных под именем «мрачного Коко». К нему должны были перейти не только их богатства, но, вероятно, и титул, так как род графов Слытковых прекращался с Пьерушей и Женюшей.

Попав в этот кружок, Егор Александрович почувствовал себя очень скверно и с ужасом заметил, что здесь не было даже Марьи Николаевны, то есть единственного существа, с которым он мог бы перекинуться живым словом. Ему было не только досадно, что она его оставила на жертву этому обществу, — ему почему-то показалось, что это было сделано не без умысла... Не хотела ли она помучить? Или, может быть, тут было своего рода глумление над ним — над искателем богатой невесты. Это задело его самолюбие, и он решил лучше остаться в этой душной гостиной, чем идти искать Протасову.

Присутствующие, между тем, почти не обратив на него внимания, продолжали беседу,

перешедшую теперь к вопросу о необъяснимых видениях.

— Я как сейчас помню, это было перед четырнадцатым декабрем, — продолжал рассказывать, пришепетывая, Женюша Слытков. — Мы собрались у генерала Арбузова. Были: я, Василий Богданович Адамович, два князя Вадбольских и Зубов. Разговор коснулся наполеоновских войн и численности его армии в сражении под Эйлау. Арбузов и Адамович горячо заспорили. Наконец Арбузов и говорит: «Да что же ты споришь, Василий Богданович, когда я читаю историю этого времени. Книга даже раскрыта у меня в кабинете на том самом месте, где говорится о числе войск». — «А я готов биться об заклад, хоть бы черту душу пришлось отдать, — сказал Адамович, — что прав я».

Побились об заклад, и все двинулись в кабинет.

— Удивительная история! — начал, захлебываясь, Пьеруша, ворочая голову на длинной шее и обводя всех одним круглым и большим, как у неоперившейся птицы, глазом.

— Нет, ты погоди, Пьеруша, дай мне доска-

зять, — серьезно и строго остановил его порыв Женюша. — Вот идем мы в кабинет, отворяем двери и видим: у стола сидит сам Арбузов и держит развернутую книгу. Мы переглянулись: все были бледны, как полотно. Арбузов, то есть настоящий Арбузов, стоящий с нами, тяжело дышал. Он тихо подошел к своему двойнику, встал за его спиною и заглянул через его плечо в книгу. — Виноват, Василий Богданович, — громко проговорил он. — Ты прав! Недоброе пари заставил я тебя предложить... Призрак моментально исчез при этих словах, — подошли мы к столу: книга лежит на столе, и никого нет.

— Удивительная история! — уже совсем восторженно воскликнул снова Пьеруша, опять обводя общество своим одиноким взглядом. — Женюша всегда ее так рассказывает. Всегда! И когда — слушайте, это ужасно знаменательно! — пришел он домой, — я не был на этом вечере, горло болело, — пришел он домой, взглянул я на него и говорю: «Женюша, с тобой случилось необычайное событие!» — «Ты почему, Пьеруша, знаешь?» — спрашивает он. — «Я не знаю, но я чув-

ствую», — ответил я. — «Ты прав», — сказал он.

— Нет, а ты расскажи, Пьерушка, про историю в Петербурге у Лотгаммер, как стулья там ходили, — сказал Женюша. — Дом этот на углу Большой Садовой и Могилевской улиц доныне существует и квартира...

Егор Александрович задыхался: его душила злоба на молодую хозяйку дома, оставившую его на жертву этим старцам. Однако он все же дал себе слово не выходить из этой комнаты на поиски беглянки. Но это ему не удалось исполнить. Софья Петровна, изнывавшая за сына, сделала неловкость и спросила у одной из хозяек дома:

— А где скрывается Марья Николаевна?

— Мари, должно быть, на террасе с monsieur Томиловым, — ответила старуха и крайне сухо обратилась к Егору Александровичу: — Пройдите туда, если угодно, она, верно, там.

Егор Александрович закусил от досады губы, но волей-неволей должен был идти отыскивать молодую девушку.

Он вышел на террасу. Здесь, внизу, на сту-

пеньях, сидела Марья Николаевна в странной позе: она обхватила руками одно колено и смотрела бесцельно перед собою; эта поза была скорее прилична мальчугану или юноше, но никак не барышне. Около молодой девушки стоял худощавый и болезненный господин с очень некрасивым, неподвижным лицом, обрамленным с боков небольшими баками. Ему было лет тридцать, но его темные волосы, зачесанные не без искусства, были крайне редкими, несмотря на тщательную прическу, сквозь них просвечивало тело. Его серые глаза, смотревшие через стекла ринсе-pez, были холодны и тусклы. Это был Коко Томилов, как узнал потом Мухортов. Он что-то рассказывал Марье Николаевне, но она, видимо, не слушала его, смотря бесцельно перед собою. Егор Александрович стал спускаться по лестнице. Протасова заметила его только тогда, когда он уже совсем близко подошел к ней.

— А, это вы! — сказала она, лениво протягивая ему руку. — Бежали из общества мертвецов, которых забыли похоронить?

— Не бежал бы, если бы они сами не изгнали меня, заставив отыскивать вас, — ответил

он.

— А, вот что! — проговорила она. — Значит, они заинтересовали вас?

— Да, оригинальная коллекция развалин, — сказал он небрежно. — Я их слушал не без любопытства.

Томилов, не представленный Мухортову, отошел в сторону, как-то враждебно и косо окинув его взглядом с ног до головы. Протасова сделала гримасу.

— Ну, я по доброй воле и минуты не провела бы с ними, — продолжала она начатый разговор, не обращая внимания на удалившегося Томилова, и в ее тоне послышалась ирония.

— Да ведь и я не по доброй воле явился в их общество, — ответил Мухортов с известной резкостью.

Она вопросительно взглянула на него. Ему показалось в этом взгляде не то презрение, не то насмешка.

— Волей-неволей приходится отдавать визиты, — пояснил он с несвойственной ему неделикатностью, почти дерзостью. — К тому же в деревне нельзя и выбирать, куда ездить,

куда не ездить...

— Я предпочитаю уж лучше вовсе не ездить никуда, — сказала она. — Силой иногда куда-нибудь вывезут, и то ведь это редко бывает.

— Я, вероятно, также последую вашему примеру, — заметил он. — Я только буду счастливее вас, так как меня некому силой возить в гости.

— Ну, да вам так недолго придется здесь жить...

— Вы ошибаетесь, я поселюсь здесь надолго...

— Вы?

— Да.

— А служба?

— Я выхожу в отставку.

Она посмотрела на него не без удивления.

— Зачем? Устали служить?

В ее тоне была нескрываемая насмешливость.

— Нет, просто потому, что мои средства не позволяют служить в гвардии, — просто ответил он.

По ее лицу скользнула улыбка, нехорошая

улыбка, задевшая его за живое.

— А разве отставка поправит ваши средства? — спросила она.

— Еще бы. Здесь жизнь дешева вообще, и можно до последней степени ограничить свои потребности, — ответил он, — Может быть, мне удастся попривыкнуть и к сельскому хозяйству, если, конечно, останется что-нибудь для этого хозяйства.

— То есть как это что-нибудь останется? — спросила она в недоумении. — У вас же большое имение...

— И еще большие долги, — ответил он. — Я должен продать все, что потребуется продать для уплаты этих долгов.

Ее лицо сделалось совершенно серьезным. Она немного сдвинула брови и, видимо, находилась в сильном недоумении. Она только накануне узнала, что Мухортов намеревается свататься за нее. Она страшно рассердилась на него. Если бы он подвернулся ей в ту минуту, она наделала бы ему страшных дерзостей. Ей и теперь стоило немалого труда сдержаться хотя немного при встрече с ним и не наделать ему дерзостей. Теперь его слова сбили

ее с толку. У нее было непреодолимое желание прямо задать ему вопрос о его желании просить ее руки, хотя она и сознавала, досадуя, впрочем, за это на себя, всю неловкость этого вопроса. Но, тем не менее, она не выдержала и с иронией сказала:

— А мне говорили о каких-то других ваших планах...

Он пристально, почти дерзко взглянул на нее, точно делая ей вызов, точно говоря ей: «Что же вы не договариваете? Попробуйте!» Она впервые смутилась от холодного и серьезного взгляда этого человека и глянула в сторону.

— У меня нет и не будет никаких других планов, — ответил он твердо и отчетливо.

Разговор вдруг оборвался. Между молодыми людьми повеяло каким-то холодом. Они почуяли один в другом врагов...

III

Егор Александрович, вернувшись домой, тотчас же с лихорадочной поспешностью засел за разбор разных счетов и отчетов, доставленных ему дядею, и не без страха раздумывал, сумеет ли он одолеть все эти ряды цифр. Дело для него было совершенно новое. Но это нужно было сделать, чтобы уяснить себе, как поступать дальше. Не уяснив себе этого, он испытывал такое ощущение, как будто на нем были надеты колодки, мешавшие ему свободно двигаться. Работа должна была занять у него не день, не два, и он сознавал, что ему придется потратить много времени даром, так как он не умел приняться за дело, как следует. Тем не менее, он решился добиться результатов без чужой помощи, почему-то стыдясь просить указаний у дяди. Его постоянное пребывание в своем кабинете за бумагами сильно смущало Софью Петровну. Она не знала, что хочет предпринять сын, для чего ему понадобилось просмотреть эти противные дела. В то же время ее мучило подозрение, что Егор Александрович действитель-

но хочет отказаться от женитьбы на Протасовой. Почему? Мухортова не находила ответа на этот вопрос. Ее томила тоска. Ей грезились во сне и наяву Баден-Баден, Биарриц, Трувилль. Она вдруг стала чувствовать, что у нее и тут болит, и там ноет, и здесь колет. Как бы хорошо теперь уехать куда-нибудь на воды. Это так необходимо для ее здоровья. Но об этом и думать нечего, если Жорж не женится. Она металась и не находила себе места. Ее даже не развлекала болтовня Елены Никитишны, Агафьи Прохоровны, матери Софронии. Мрачное настроение генеральши не ускользнуло от зорких глаз ее приживалок и дворовых. Об этом шушукались во всех углах. Агафья Прохоровна интересовалась этим более всех.

— Матушка, Софья Петровна, что это вы, ангел наш, все нынче в омрачении находитесь? — говорила она как-то, развлекая лежавшую в своем будуаре на кушетке совсем больную генеральшу. — Смотрю это я на вас, благодетельница, и думаю: нет, нет, это не наша Софья Петровна, не она, не она! Ей-богу!

— Да, милая, точно я на себя не похожа, —

со вздохом произнесла Софья Петровна и томно закатила глаза. — Радостей-то мало...

— А что такое, ангел вы наш?.. Не случилось ли чего, помилуй, господи! — воскликнула в волнении Агафья Прохоровна и учащенно заморгала глазами.

— Хотелось, вот, Жоржа женить, — лениво ответила Мухортова. — Тоже при жизни еще пристроить бы желала...

— Матушка, ангел вы наш, да вы это что же о смерти-то говорите! — поспешно воскликнула Агафья Прохоровна и бросилась целовать ручку генеральши. — Вам жить, да жить еще надо. Нас-то кто же хоронить будет без благодетельницы. Поверх земли без вас-то мы навалиемся! Спаси вас, господи! Она быстро начала креститься.

— Все же, кто знает, что случится! Предчувствие у меня! — произнесла Софья Петровна таким печальным тоном, точно она и действительно умирала. — Да, предчувствие. Под ложечкой это, знаешь, так засосет, засосет, ну, и идут в голову такие мысли... Да, хотелось бы при жизни видеть Жоржа счастливым.

— Ну, и что же? и что же?

— Не хочет... Нашла ему и невесту — не нравится.

— А-ах, а-ах! — протяжно вздохнула Агафья Прохоровна, качая с соболезнованием головой. — Не нравится! И с чего бы? Разве, может, у самого Егора Александровича другая невеста намечена? Ну, тогда другие, конечно, по вкусу и не придутся.

— Нет, где же! — сказала генеральша.

— И точно, где же!..

Агафья Прохоровна подперла подбородок правой рукою и, покачивая в раздумье головой, заметила как бы про себя:

— Уж не может же быть, чтобы это из-за этого... Нет, это что и говорить, це может быть, пустяки совсем!

— Ты это про что, Агафья Прохоровна? — спросила генеральша.

— Так, ангел вы наш, глупые мысли пришли в голову... Известно, где же у нас умным мыслям быть... Сами мы глупые, и мысли у нас глупые...

— Да ты говори! Что такое?

— Я вот про Полю, что она-то не пристроена еще...

Агафья Прохоровна вдруг словно спохватилась и торопливо прибавила:

— Благодетельница, виновата! Язык мой — враг мой! Может, вы и не знаете ничего про Полю!

Мухортова махнула безнадежно рукою.

— Все, все знаю!

— Ну, так вот не беспокоится ли Егор Александрович, что она-то не пристроена? Ведь это бывает. Конечно, не ему на ней жениться, не помеха она ему при свадьбе, а все же, пока не пристроена она, сердце-то по ней и сохнет. Добр он! Была бы чужемужняя жена — дело другое было бы, отрезанный ломоть...

— Это правда, конечно, — в раздумье согласилась генеральша.

Ей самой приходила в голову эта мысль.

— Вот Данило Волков, камердин Егора Александровича, я думаю, в ногах бы вывалялся, чтобы жениться на ней.

— Ты полагаешь? Но он же, вероятно, все знает?

— Ах, благодетельница, это вы по своим благородным чувствам рассуждаете, а ему что, что он знает? В их сословию это ни за что

не считается. Просто так себе: тьфу!.. Да и то сказать, чего же тут такого? Не с мужиком каким-нибудь жила, а барин приласкал, так ведь это за счастье он почитать должен, потому и ее, и его не оставят господа.

— Ах, разве я кого-нибудь обижала! — воскликнула с чувством Мухортова. — На меня-то уж роптать люди не могут! О, нет...

— Что и говорить! Что и говорить! Благородные люди такой жизни были бы рады! Как у Христа за пазухой живут!

Софья Петровна помолчала и потом спросила:

— Так ты думаешь, что Данило был бы согласен?

— Ничего я наверное, ангел вы наш, не знаю, потому не мое это дело. Что мне в чужие дела соваться? Меня бы не обижали, а я человека не трону. Живи он, как знает... Но думаю я по своему глупому рассуждению, что должен бы Данило только радоваться и бога благодарить за такое счастье.

Генеральша вздохнула.

— Надо будет с Еленой поговорить...

— Благодетельница, только не выдавайте

вы меня, что я это говорила, — сказала Агафья Прохоровна униженным тоном. — Не любят люди, чтобы в их дела чужие нос совали. Может быть, у нее свои планты есть. В чужую душу не влезешь...

— Ах, что ты глупости говоришь! Стану я рассказывать!

— Тоже понимают ведь, что пока Пелагея не замужем, будет она в руках Егора Александровича держать. К чужемужней жене сердце-то его сейчас охладает...

Агафья Прохоровна поспешила оставить Мухортову одну и, пробираясь в странноприимный покой, не утерпела, забежала к Даниле Николаевичу Волкову.

— Готовьте дары-то, да на свадьбу зовите, — бойко сказала она ему, заглядывая в его комнату.

— А что, Агафья Прохоровна? — торопливо спросил он, соскакивая с дивана, где лежал с газетой в руках.

— А то же, что у генеральши речь пойдет с Еленой Никитишной о вашем бракосочетании, — ответила Агафья Прохоровна, приседая в дверях. — За хлопоты-то сумеете по обе-

щанному отблагодарить.

— Мы свое слово держать умеем, — развязно ответил он. — Как же разговор-то у вас вышел?

— Ну, после, а то еще шпионы выследят, дело напортят, — ответила она, быстро удаляясь от дверей с поднятой гордо головой.

Софья Петровна, между тем, глубоко раздумывала о словах Агафьи Прохоровны. Ей самой не раз приходили эти мысли в голову. Действительно, Егор Александрович бросит тотчас же Полю, как только она сделается чьей-нибудь женою. Не станет он делиться ею с лакеем. Фи! Этого только недоставало! Это, вероятно, понимают и Поля, и Елена Никитишна. Уж и точно, не думают ли они прибрать к рукам Жоржа? Надо похлопотать, как бы сбыть девушку. Ах, как все это скучно, несносно!

Не прошло и получасу после ухода Агафьи Прохоровны, как уже в будуаре у Мухортовой шел разговор с Еленой Никитишной.

— Я с тобой, Елена, хотела поговорить о Поле, — сказала Софья Петровна. — Ужасно беспокоит меня ее положение.

Елена Никитишна махнула безнадежно рукой.

— Уж и не говорите, сама я ночей не сплю! Докуролесила девчонка до того, что хуже и быть не может...

— А что? — с испугом спросила генеральша.

— Известно, что! Оба молоды, матерью, пожалуй, будет.

— Елена, что ты говоришь! — с ужасом вскричала Мухортова. — Это ужасно, ужасно!.. И скоро?

— Не знаю, ничего не знаю! От нее ничего не допытаешься, а вижу, что дело не ладно.

— Боже мой, этого только недоставало! Незаконный ребенок! Это ужасно!.. А я думала пристроить бы ее за кого-нибудь...

— Пристроить! Вон и жених есть, да разве с нею сговоришь!..

Елена Никитишна опять махнула рукой.

— Жених? Кто это? — любопытствовала генеральша.

— Данило сватается.

— Данило? Что же, он человек трезвый, порядочный...

— Да ей-то все равно, кто ни сватайся, хоть принц заморский, все равно не пойдет.

Софья Петровна покачала укоризненно головой.

— Ах, Елена, Елена, разве можно так говорить. Разве девушка понимает что-нибудь в этих делах! Надо уговорить, резоны представить. Ведь и все мы почти всегда не по своей воле шли замуж. Разве я по своей воле, по страсти шла? Так я не она!.. Если бы волю-то нам дать, так мы бы... Да вот она сама пример: дали мы волю, и что вышло?

— Знаю я, сама знаю это! Да нынче насильно-то к венцу не потащишь...

Мухортова пришла в ужас.

— Ах, что ты, что ты, Елена! Разве можно такие слова говорить: насильно! Да я первая возмутилась бы! Надо убеждением подействовать! Надо резоны представить! А то насильно, вот выдумала. Совсем ты стара становишься, тоже из ума выживаешь! Насильно!..

Генеральша была возмущена.

— Говорила я с ней, да разве ее уговоришь, — ответила Елена Никитишна.

— Ты говорила уже?

— Да так, стороною, — пояснила Елена Никитишна, уклоняясь от прямого и откровенного ответа.

Она уже несколько раз пробовала усовестить «девку», под влиянием какого-то смутного страха, чуя, что в доме делается что-то неладное. Практический смысл прямо подсказывал ей, что нужно ковать железо, пока оно горячо, что теперь еще можно «сорвать» что-нибудь с господ на приданое, а что после, может быть, будет уже поздно. Сорвать можно было, только выдав Полю замуж; обеспечивать судьбу обольщенной девушки, не выдавая ее замуж, — этого еще не случалось в практике мухортовских господ и дворни и, кроме того, просить об этом было неловко, так как подобная просьба могла быть принята за недоверие к господам. И на воле у Елены Никитишны остались понятия и взгляды крепостной.

— Ну, и что же? — продолжала расспрашивать Софья Петровна.

— И слушать не хочет! Вот уже истинно нажили горе! Конечно, если бы сам Егор Александрович ей сказал, может быть, она и

согласилась бы.

Генеральша ухватилась за эту мысль. Действительно, это было проще всего. Он должен уговорить эту молодую девушку и загладить свой проступок.

— Я с ним поговорю...

— Не станет только он ее уговаривать! — с сомнением возразила Елена Никитишна.

— Ну, вот еще выдумала! Должен же он понять, что надо уладить это дело... Наконец, я мать, я могу ему приказать... Ты, с своей стороны, Елена, постарайся разъяснить ей ее положение, а я поговорю с Жоржем... Надо кончать скорее!..

— Ах, девка, девка, сколько она хлопот наделала! — вздохнула Елена Никитишна.

— Ну, не горюй, Елена, что делать! Авось, все уладится!.. Поверь, что я постараюсь сделать все, зависящее от меня... Ну, а ты помоги со своей стороны...

Генеральша милостиво отпустила Елену Никитишну и твердо решила переговорить с сыном. В последнее время он как будто избегал разговоров с матерью, и генеральша совершенно не знала его- планов относительно

будущего. Она знала только, что он для чего-то просматривает «противные» отчеты по имению, и не понимала смысла этих занятий. Чего уж просматривать старые счета, если стоишь на краю пропасти?..

Улучив удобную минуту, она пригласила сына к себе на половину и сказала ему:

— Жорж, мне нужно серьезно поговорить с тобою...

Он не без удивления взглянул на нее, но тотчас же заметил:

— Я очень рад, потому что и мне нужно поговорить с тобою.

— Я насчет Поли, — начала генеральша, когда Егор Александрович опустил в кресло около ее кушетки.

— Насчет Поли? — с еще большим удивлением спросил он. — Что такое случилось?

— Кажется, ты должен бы знать лучше меня, в каком она положении.

— А, — со вздохом проговорил Мухортов. — Я знаю... то есть подозреваю... этого нужно было ждать...

— Меня огорчает, мой друг, твое равнодушие, — сказала с упреком мать.

— Почему ты знаешь, что я равнодушно отношусь к этому? — спросил он. — Но воротить прошлого нельзя, и сколько бы я ни волновался, поправить дела тоже нельзя!

— Нужно поправить! — тоном строгого наставника заметила генеральша, делая особое ударение на слове «нужно».

Потом она прибавила:

— Да, нам надо позаботиться о ее судьбе и о судьбе ее ребенка... твоего ребенка... Это наш святой долг!..

— Я именно это и хочу сделать, но прежде всего мне нужно привести в порядок наши собственные дела, — сухо ответил сын.

— Что же общего между нашими делами и ею? — пожимая плечами, произнесла генеральша. — Странное сопоставление!.. Мы должны постараться ее пристроить за кого-нибудь, вот в чем наш долг, Он усмехнулся.

— Хорошо заглаживанье проступка: сделать ее еще несчастнее. Она, впрочем, никогда не выйдет ни за кого замуж.

— Надо ее уговорить.

Он нетерпеливо пожал плечами.

— Это бесполезно! Да на ней никто и не

женится, — сказал он с горькой усмешкой. — Кому же нужна брошенная любовница, да еще с ребенком...

— О, мой друг, поверь, что в их кругу на это смотрят не так, как у нас. Дадим приданое, найдется и жених, и она...

— Вот именно этот-то вопрос меня и занимает теперь, — начал он.

— Так ты думал ее пристроить? — обрадовалась генеральша.

— Нет, я не о ней говорю, а о деньгах, — сухо ответил сын. — Я почти окончил проверку отчетов по управлению имением... Но я не знаю еще одного. Сколько у тебя долгов в Петербурге?

— Где же мне помнить, — с пренебрежением сказала Мухортова.

— Их надо вспомнить; иначе придется плохо... Ты что-то говорила перед отъездом сюда о модистке?

— Да, там я должна пустяки какие-то... пятьсот или семьсот рублей... Там еще какой-то долг обойщику... тоже пустяки...

— Это вовсе не пустяки, потому что у меня и так почти ничего не остается, — заметил

Егор Александрович. — Мне надо знать точно цифру твоих долгов, и я тебя серьезно попрошу дать мне в этом отчет... Я, конечно, свято расплачусь за тебя, но это будет в последний раз...

Его тон был необычайно тверд и резок. До этой минуты он никогда так не говорил с матерью.

— Жорж, что с тобой? — воскликнула генеральша и сама возвысила голос. — Каким тоном ты говоришь это? Я не привыкла...

Он перебил ее.

— Я тебя попрошу не волноваться! — стараясь быть сдержанным, заговорил он. — Ты еще недавно сама говорила о необходимости спасти честь нашей фамилии. Именно это я и решил сделать, не пятная себя новым бесчестьем — продажею себя. Только теперь я вижу, что мы с тобою действительно летели головами в пропасть, ты — по незнанию дел, я — по глупому стремлению не заниматься этими делами.

— Ты меня обвиняешь?

— Я гораздо более обвиняю себя, потому что, отстраняясь от дел, я все же пользовался

всеми удобствами, бывшими нам не по средствам... Притом я должен был понять, что ты не имеешь призвания к делам...

— Что же ты хочешь делать?

— На днях предстоят платежи процентов по залому имения. Я продам все, и если что останется за уплатою долгов — я здесь же куплю клочок земли и поселюсь на нем. По моим соображениям, если у тебя петербургские долги не слишком велики, мне останется столько, что в пять-шесть лет я стану, может быть, на ноги, устрою себе безбедную жизнь. Ты же — в эти годы ты можешь жить на свою пенсию... — у дяди Жака, наконец... а если вздумаешь жить у меня большую часть года, то у тебя хватит даже средств проводить два-три месяца в год в Петербурге по-своему... Конечно, мы должны распустить всю орду слуг и приживалок, обирающих нас теперь...

В его голосе не слышалось ни волнения, ни горечи. Он говорил, как человек, ясно сознававший свое положение — положение, если и не блестящее, то не безысходное. Генеральша молчала, точно пораженная громом, не понимая вполне, что происходит вокруг нее.

— Вот почему, — продолжал он, — всякие мечты о выдаче замуж Поли, о награждении ее за мой проступок нужно откинуть в сторону. На это у меня нет средств. Что я ее не брошу — это понятно само собою. Она останется при мне...

— Жорж! — воскликнула с ужасом Мухортова, как бы очнувшись от тяжелого сна. — Ты будешь жить здесь вдвоем с нею, сделаешь ее...

— Не будем говорить о моих делах: они касаются только меня, меня одного! — перебил он ее. — Нам прежде всего нужно распутать наши общие дела, и это в значительной степени зависит от тебя, как я уже сказал, так как я не желал бы, чтобы векселя и счета из Петербурга посыпались мне, как снег на голову...

Софья Петровна неожиданно разрыдалась и, ломая руки, застонала.

— Жорж, Жорж, ты решился убить меня! Я не переживу этого! О, как ты жесток, как мало ты любишь меня!

— Полно! Зачем ты говоришь эти фразы, — нетерпеливо сказал он. — Люди переживают

и худшие несчастья. Мы, по крайней мере, можем выйти еще чистыми из всей этой истории. Это даже не несчастье, а только урок...

Потом, видя, что мать продолжает истерически рыдать, он поднялся, с места и сказал:

— Я пошлю к тебе Елену Никитишну помочь тебе...

Он вышел, не оборачиваясь, из комнаты. Он был убежден, что вопроса о выдаче Поли замуж больше не поднимут...

Четвертая глава

I

Егор Александрович успел уже давно разобратся в делах, и теперь для него весь вопрос заключался в том, чтобы повыгоднее продать имение. Ему хотелось сохранить за собою, если возможно, клочок своей родовой земли, прилегавший к владениям Алексея Ивановича. Здесь ему не только нравилась местность, но и было то удобство, что ему можно было тут, не тратясь на постройки, найти себе приют. В этой части мухорговского имения стоял отличный, заново отделанный, деревянный дом. Этот дом, носивший название «охотничьего домика», был некогда построен для отца Егора Александровича и, хотя не отличался грандиозными размерами, но был довольно просторен и прочен. Еще недавно тут жил брат Елены Никитишны, бывший управляющим в имении. Дом стоял на возвышенной местности. Около него протекала небольшая река Желтуха, по берегу ее

тянулась деревня с деревянной церковью и кладбищем на краю. Обдумав все свое будущее, Егор Александрович отправился к Алексею Ивановичу, чтобы сообщить ему все, что он придумал, и попросить его советов. Когда он пришел в дом дяди, его особенно приветливо встретили кузины и кузен; но Егор Александрович сразу заметил в их лицах какое-то особенное участие и жалость. Так добрые люди смотрят на разных «несчастненьких». Егору Александровичу, неизвестно почему, вспомнилась та сцена с Машей Протасовой, когда девочка сказала ему: «Бедный слепенький, хочешь, я тебя повожу». По его лицу скользнула невольная улыбка. Родственники разом вскрикнули, вглядываясь в него:

— Егораша, что с тобой, голубчик?

Мухортов удивленно и вопросительно взглянул на них.

— На тебе лица нет! Ты нездоров был?

Егор Александрович сам не знал, что он так изменился в какую-нибудь одну неделю.

— Нет, сидел много за делами, так, верно, с непривычки отоцал, — ответил он, усмехаясь. — Вот начнется охота, поправлюсь... Дядя

дома?

— Дома, дома! — ответили родственники, тревожно переглядываясь между собою, и тут же прибавили: — Ты бы бросил все эти дела, где уж тебе возиться с ними!

Мухортов, не отвечая на это замечание, сказал: — Дядя в кабинете?

— Да, да!.. Ах, бедный, бедный, как ты исхудал!..

— Так я пройду к нему, — сказал Егор Александрович.

Ему уже становилось досадно слушать эти жалостливые восклицания откормленных и краснощеких деревенских здоровяков.

Он направился в кабинет Алексея Ивановича и, переступив порог, сразу увидал при виде дяди, что и дядя смотрит на него как-то странно. Старик, несмотря на свою вечную веселость, смотрел теперь озабоченно, с каким-то не то недоумением, не то смущением на племянника, точно готовился рассказать или выслушать что-то неладное. Егор Александрович поздоровался с ним и с первых же слов просто и откровенно стал выяснять дело. Ему хотелось поскорее высказать все, что бы-

ло у него на душе. Он искренно любил старика, как замечательно доброго родственника, каким и был в действительности старик Мухортов. Кулак и аферист в одну сторону, он с другой стороны был нежнейшим мужем, отцом, дядею. Он не остановился бы перед необходимостью прижать к стене кого бы то ни было, снять с ближнего рубашку, но в то же время он готов был на всякие жертвы для своих. Эти две нравственности уживались в нем вместе, как это бывает сплошь и рядом. Егор Александрович начал с того, что задал старику простые вопросы: можно ли свести концы с концами, хозяйничая по-старому в Мухортове, то есть платя проценты за ссуду, не делая новых долгов? Можно ли поступать иначе или, лучше сказать, можно ли принудить Софью Петровну поступать иначе, покуда имение будет номинально принадлежать ему, Егору Александровичу? Не выгоднее ли продать теперь же имение, оставив за собой небольшой участок земли, где можно исподволь начать, если вздумается, маленькое сельское хозяйство не с голыми руками, а с кое-каким капиталом, вырученным хотя от

продажи разной движимости, если не от продажи самого имения? Старик не без изумления увидел, что Егор Александрович обдумал дело не хуже, чем обдумал бы это он сам. Он поднялся с места и, потирая лоб, стал ходить быстрыми шагами по комнате, повторяя:

— Так, так!.. Экая ведь досада, что у меня теперь нет свободных денег... Я бы тебя, Егорушка, выручил, верь мне... Ну, да это не беда... Приищем покупателя... Что бы ты сказал, если бы Протасов...

Он взглянул испытующим взглядом на племянника, точно хотел прочесть в его душе, какое впечатление на молодого человека произведет этот вопрос.

— Мне, дядя, все равно, кто купит, лишь бы больше взять, — спокойно ответил Егор Александрович.

— Больше Протасова никто не даст... Ему имение нравится, да и с руки ему...

Егор Александрович нерешительно заметил:

— Но, дядя, вы не берете одного в расчет... Я не знаю почти вашего Протасова и потому не могу судить о его характере... Но не при-

жмет ли меня именно он... Эта глупая — вы меня извините — история с сватовством могла его разозлить.

Алексей Иванович замахал руками и вздохнул.

— Ну, Егорушка, ты уж о сватовстве-то не говори... Провалились мы на нем... Ах, как провалились!.. Ты, верно, еще ничего не знаешь? А я боялся за тебя... Тоже у тебя гонор... Во-первых, барышня сказала прямо отцу, когда он ей заикнулся о твоих планах, что за тебя она никогда не выйдет, что за первого встречного дурака пойдет, а не за тебя, и, во-вторых, конкурент у тебя явился опасный — Томилов... Старые девы на стену лезут, только бы женить его на Марье Николаевне... Еще бы, камер-юнкер и в будущем граф Слытков-Томилов. Не шутка!..

— Ну, и дай бог им совет да любовь! — равнодушно сказал Егор Александрович.

— Мы тут в семье толковали, как бы поделкатнее сообщить тебе об этом, и ума не приложили.

— Да я же сам отказался от женитьбы...

— Ну, так тебе и поверили! — сказал дя-

дя. — А вот как Протасов мне сообщил об отказе дочери, так тут уж нельзя было не поверить. Меня точно водой холодной обдало... Думаю: «Что теперь Егорушка станет делать?» Мои тоже чуть не ревут: «Бедный Егораша, ах, Егораша».

Егор Александрович не выдержал и разразился смехом.

— Так вот почему вы все на меня с такими постными физиономиями смотрели! — проговорил он, продолжая смеяться. — А я сразу и понять не мог...

— Да, тебе смех, а ведь штука-то выгодная ускользнула из рук, — сказал Алексей Иванович.

Потом он заговорил уже более веселым тоном.

— Протасов даже немного повздорил с дочерью и извинялся передо мною в неловкости, — продолжал Алексей Иванович и засмеялся. — Я великодушно простил!

— Значит, вместо убытка барыш? — шутливо сказал Егор Александрович. — А я со своей стороны боялся, что ты на меня дуться будешь, что я испортил твои отношения к Про-

тасову...

— Нет, брат, мне во всем удача: вон в Москве у меня дом сгорел — продать бы его, и десяти тысяч не дали бы, а сгорел — сорок получил из страхового общества. Полоса теперь такая у меня, чтобы только не сглазить...

— Ну, вот ты и мне с легкой руки помощи выпутаться...

— Хорошо, хорошо!.. Я что, это твоя мать-то, Егорушка, мне вот насчет Поли твоей пледа... Не то ты законным браком жениться на ней хочешь, не то... черт знает, что ты придумал...

— Все пустое, дядя, — ответил Егор Александрович. — Жениться я на Поле не могу, хотя, может быть, это и следовало бы сделать. Но это выше моих сил...

— Ну, какая же она тебе пара?!

— Нет, дядя, не то!.. Не потому не могу я жениться на ней, что я лично считаю ее неровной мне, а потому, что мне пришлось бы порвать связи со всеми родными... Ведь даже ты, добрейший мой человек, не пустил бы своих дочерей ко мне, если б она была моей женой?.. Да?

— Что и говорить.

— Ну, а отказаться от всей родни, от всех связей я не в силах... Бесчестно это или нет?.. Может быть, я тут сам с собою играю в прятки... сам я еще не могу разобраться в своей душе, но это так... Но, не женись на ней, я не брошу ее. Она будет иметь место в моем доме, ей по духовной я оставляю после своей смерти все, что имею...

— Ну, умирать-то тебе еще рано...

— Кто знает... Камень с крыши может упасть и убить.

— Ну его к черту, этот камень... Ты о жизни думай, а не о смерти... Тяжело тебе, Егорушка, будет ради нее обречь себя на холостую жизнь...

Егор Александрович пожал плечами.

— Кататься умел, дядя, нужно и саночки уметь возить... Впрочем, ты ошибаешься, если думаешь, что я не люблю ее, или она не любит меня... Я счастлив и этой любовью, а другой — найдешь ли ее еще? Любовь и счастье — мало билетов с этими выигрышами в жизненной лотерее!..

И, переменяя разговор, он еще раз спросил

Алексея Ивановича:

— Так ты одобряешь мои планы?

— Еще бы! Другого выхода и нет! Станешь путаться с новыми займами — все ухлопаешь на одни проценты, да еще и мать будет требовать на широкую жизнь. Ведь нельзя же сокращать свои расходы, когда владеешь таким имением, как Мухортово! Тоже мотовка она у тебя!

У Егора Александровича стало совсем легко на душе. Вернувшись из кабинета дяди на террасу, где барышни Мухортовы вышивали русские полотенца, а сын хозяина дома читал вслух какую-то книгу, Егор Александрович не мог не рассмеяться, подметив снова обращенные на него не то участливые, не то пугливые взгляды. Он подошел к кузинам и весело проговорил им:

— Ну, а теперь позвольте вас расцеловать за участие. Я не умираю, не погибаю и чувствую себя более счастливым, чем когда-нибудь!

Он притянул к себе этих румяных, откормленных и добродушных девушек и не без удовольствия расцеловал их прямо в губы. Кузен

тоже поднялся с места и протянул ему широкую, полную, белую руку и, крепко сжимая ею руку Егора Александровича, с чувством проговорил:

— Молодец, Егораша; наплюй на все! Свет не клином сошелся. Мы тебе другую найдем...

— Нет, уж ты мне лучше на хорошие места на охоте укажи, Павлик, — ответил, смеясь, Егор Александрович, — а невесту я сам найду.

Павел Алексеевич, очень походивший на откормленного теленка, с крупными розовыми губами и большими простодушными молочно-голубыми глазами, бросился обнимать кузена, звонко и сочно целуя его.

— Знаешь, Павел, когда ты так целуешь, аппетит возбуждается, — со смехом сказал Егор Александрович.

— Меня, что ли, съесть хочешь? — в свою очередь, засмеялся сын хозяина.

Егор Александрович с любовью взглянул на него и взял его за подбородок.

— Что ж, аппетитный кусок!

— Нет, уж я лучше велю завтрак подать! — ответил Павел Алексеевич. — Кстати, и мама посмотрит на тебя. А то она, бедная, боялась

и выйти к тебе. «Взгляну, говорит, на него и разрыдаюсь».

II

Был третий час дня в исходе, когда Егор Александрович возвращался домой от дяди. Погода стояла превосходная. Кругом все было залито солнцем, в бездонном голубом небе не было ни облачка. Кругом царила невозмутимая тишина. Егор Александрович шел неспешными шагами домой по берегу Желтухи. Кое-где в стороне виднелись покосившиеся избы, ветхие крестьянские постройки. Смотря на них, Егор Александрович невольно вспомнил про недавно просмотренные им счета. Здесь нищета, быть может, голод, а там в этих счетах значились цифры вроде пятисот рублей, заплаченных за кружевные манжеты и воротничок, вроде тысячи шестисот франков за одно домашнее платье, сшитое в Париже. Ему вспомнилось и то, что он сам проигрывал иногда в ландскнехт сотни рублей, бросая эти деньги, взятые у народа, как бросают ненужные тряпки. Сколько мерзостей и подлостей делают люди, даже

считающие себя и считающиеся честными людьми, — делают только потому, что не задумываются над своими поступками, не отдадут себе строгого отчета в своих действиях. Ему вдруг вспомнились почему-то слова Протасовой: «Шампанское пьете и устриц едите?» Его мысли перешли к ней. Какая странная эта девушка! Сколько в ней отталкивающего и сколько привлекательного. Но что же в ней привлекательного? В этом он не мог дать себе отчета, не мог указать на что-нибудь определенное. Определенными у нее были только недостатки. И с чего это он задумался о ней? Что она? Пустая болтунья, понадергавшая фразы в разных книжках, вот и все, что можно сказать о ней. Тут нет ни глубины, ни искренности, а все напускное, начинающая с ее пресловутой резкости и откровенности и кончая ее не то мужицкими, не то мальчишескими манерами. В ней, кажется, нет даже нравственной чистоты. Он иронически усмехнулся, сделав этот приговор. Не говорит ли в нем зависть? Как же, она выбрала Томилова, какого-то Коко Томилова, а не его! Ему ли не злиться на нее!

— А, это вы? Какими судьбами вырвались из своей берлоги? — вдруг послышался голос откуда-то снизу.

Егор Александрович оглянулся и увидел внизу, у берега реки, образовавшей в этом месте маленький залив, лодку у стоявшего тут плота. В лодке сидела Марья Николаевна и господин с рiнсе-pez на носу, — это был Томилов. Молодые люди удили рыбу. Мухортов раскланялся с Протасовой.

— А вас нынче нигде не видно, — сказала она.

— Дела много, — ответил Егор Александрович, спустившись на плот и пожимая протянутую ему руку.

— Вы не знакомы? — спросила она Егора Александровича, указывая ему на сидевшего с нею в лодке господина. — Я вас, кажется, не представила в прошлый раз...

— Нет, — ответил Мухортов.

— Наш сосед, Николай Александрович Томилов, — сказала она.

Молодые люди холодно раскланялись. Егор Александрович облокотился на перила плота.

— Вы, впрочем, знакомы с его дядюшками... Помните графов Слытковых?..

Потом, с гримасой отвернувшись от своего спутника, она заговорила, со смехом обращаясь к Егору Александровичу;

— А я уж думала, что вы скоропостижно умерли или уехали. Справлялась у ваших кузин, говорят: «Бедный Егораша сидит все за делами».

Она ловко передразнила тон кузин Мухортова. Он усмехнулся.

— Отчего же «бедный»? Я, напротив того, именно теперь чувствую себя отлично, вследствие обилия дела.

— Вот как! А я и не подозревала, что вы такой любитель заниматься, — проговорила она с иронией.

— Я же всю жизнь провел, работая в своем кабинете, — ответил он и шутливо прибавил: не будь этого, я бы, вероятно, хандрил, как вы.

— Кто вам сказал, что я хандрю? Никогда я не думала хандрить! Вот выдумали!

— Да? — коротко спросил он и хотел откланяться.

— Как, вы уже убегаете? — спросила она.

— Чтоб не мешать вам... Вы, вероятно, страстно любите ужение рыбы?.. Это, должно быть, точно интересное занятие... Говорят, многие могут целые дни проводить за ним...

Он говорил серьезно, но Марье Николаевне послышалась в его тоне насмешка. Она вспыхнула и задорно сказала:

— Вы, кажется, хотите сказать, что это глупое занятие? Но ведь не всем же заниматься такими серьезными делами, как вы...

— Еще бы, — ответил он просто, — когда дело идет о том, чтоб спасти хоть кое-что и не пойти по миру, так уже это, наверное, серьезнее ужения рыбы, но это вовсе не значит, что я должен смеяться над теми, кто удит рыбу, не имея нужды думать о куске хлеба...

Она вдруг сделалась серьезною и поднялась с места. Лодка сильно закачалась от резкого движения. Томилов схватился за плот.

— Как вы неосторожны! — проговорил он, видимо, струсив.

Она не обратила внимания на его замечание.

— Присмотрите за моими удочками, — сказала она ему тоном приказания.

— Вы уходите? — чуть не с испугом спросил он. — Не могу же я целые часы не сходить с места!..

— Я пройду с monsieur Мухортовым, а вы ждите меня...

Она пошла с Егором Александровичем и быстро заговорила:

— Извините меня! Я рассердила вас. Я ведь слышала, что вы действительно заняты серьезным делом, приковавшим вас к дому. У меня скверный характер, я часто смеюсь над тем, пред чем надо преклоняться.

— Вы всё впадаете в крайности, — спокойно ответил он. — Над моим положением нельзя смеяться, но и преклоняться тут не перед чем. Я сижу за работой, потому это неизбежно. Вот и все.

— Ну, вам стоило... — быстро сказала она и вся вспыхнула, оборвав фразу.

Но тотчас же, оправившись, она переменяла разговор.

— Зачем вы сказали при Томилове, что ваши дела плохи? Это дрянной фатишка, смотрящий с презрением на всех, кто беден.

— Мне же нет никакого дела, как он будет

смотреть на меня, — сказал Мухортов.

— Да, но все же вам придется встречаться, а он по глупости не умеет даже соблюдать приличий... и сплетник он.

— Я, вероятно, никогда и не встречу с ним. Ко мне он не приедет, а я к нему тоже не поеду, а где-нибудь в другом месте — я, право, не надеюсь бывать, где бы то ни было... по крайней мере, теперь...

— То есть, как же? — спросила она.

— Деревня тем и хороша, что можно уединиться, уйти от людей, — пояснил он. — Я ведь по натуре домосед, кроме того... помните те годы, когда вы называли меня «бедным слепеньким»... я тогда уже пристрастился к уединенной жизни.

Она живо вспомнила этот случай.

— Да, да, я вас поводить тогда по саду хотела из жалости...

— И очень огорчились, когда, я сказал, что я вовсе не хочу ходить, что мне очень хорошо и в моем одиночестве...

Она вдруг впала в раздумье. Выражение ее изменчивого лица сделалось грустным.

— Да, я уж такая... всегда являюсь невпо-

пад и с своими насмешками, и с своими сожалениями, — задумчиво проговорила она.

И как-то резко, оборвав речь, протянула руку Мухортову.

— Ну, прощайте! — сказала она, поворачивая по дороге в обратную сторону.

Его несколько озадачила эта неожиданность.

— Как, опять удить? — спросил он.

— А то как же!.. Мой поклонник, я думаю, уже соскучился... Ведь это новый претендент на мою руку, — сказала она с горькой усмешкой. — Он вполне уверен в успехе. Это очень забавно...

— Зачем вы шутите тем, чем вовсе не следует шутить, — заметил Мухортов искренним тоном.

— Чем это?

— Чужим спокойствием, чужим сердцем.

Она засмеялась.

— Сердцем пошлого фата! Вот нашли кого жалеть! Какие сентиментальности!

Он смотрел на нее совершенно серьезно.

— Может быть, это и точно смешно, но я, право, не стал бы для шутки давить даже чер-

вей и улиток. Впрочем, в детстве, а оно всегда жестоко, это иногда доставляет удовольствие...

Он откланялся и пошел вперед. Она что-то хотела крикнуть ему вдогонку, раздражительно топнула ногой, как рассерженный, капризный ребенок, и, до боли закусив губы, пошла поспешно к своему спутнику.

Он по-прежнему сидел на лодке, у плота, пристально смотря безжизненными глазами на поплавки. Но его губы были надуты, брови сдвинуты, лицо выражало неудовольствие. Марья Николаевна подошла к плоту, облокотилась на перила и стала бесцельно смотреть на воду. Томилов искоса поглядывал на нее, ожидая, что она заговорит первая. Но она, по видимому, даже забыла о его существовании. Наконец ему надоело это безмолвие, и он спросил ее:

— Вы больше не желаете удить?

— Нет, — ответила она, очнувшись, и провела рукой по глазам, как человек, пробужденный от тяжелого сна.

— Значит, можно ехать? — спросил он.

— Да, поедemте, — рассеянно проговорила

она.

Она сошла с плота в лодку, села и опять задумалась. Томилов собрал удочки и взялся за весла. Приходилось грести против течения. Томилов, как непривычный гребец, греб с трудом; по его бледному лицу струился пот. Он тяжело вздыхал. Наконец он заговорил:

— Вы меня страшно мучите, Марья Николаевна.

— Что же, не мне ли прикажете грести? — с иронией спросила она, очнувшись.

— Я не о том, — ответил Томилов. — Я говорю о том, что вы играете со мною, как кошка с мышью...

— Я?

— Да вот хоть бы сейчас. Подошел этот господин... как его?.. Мухортов?.. И вы тотчас же бросили меня...

Он перестал грести, лодку потянуло по течению назад.

— Если вы не будете грести, мы никогда не доедем, и я сейчас же выйду, — резко заметила она.

Он опять принялся грести.

— Какое право имеете вы требовать, чтобы

я ни с кем не говорила, ни с кем не ходила? — сказала она.

— Я этого не требую, не смею требовать, — ответил он. — Но господин Мухортов... Он сватался за вас... он ухаживает...

— Вы лжете! — резко оборвала она его. — Никогда он не сватался за меня, не ухаживал... Очень нужно ему заниматься мною...

Ее голос оборвался.

— Весь уезд знает, что этот Егораша... — начал с презрением Томилов.

— Не смейте его так называть! Вы не имеете права, да, не имеете права! — загорячилась она.

Он передернул плечами.

— Вы влюблены в него?

— Да!

У него выпали из рук весла. Лодку опять понесло назад.

— Причаливайте к берегу, я пойду пешком, — резко командовала она.

Он сделал усилие, чтобы совладать с собою, и с горечью заметил;

— Вы жестоки! Можно ли так издеваться над человеком, как вы издеваетесь надо

мною! Вы знаете, что я предан вам всей душою, что вы для меня все...

Она уже не слушала его и опять забылась. В ее душе совершалось что-то странное, непонятное для нее самой. Перед ней носился образ Егора Александровича. Она злилась на себя за то, что не могла отделаться от дум о нем. Что он ей? Он ее не любит. Он почти порвал с нею всякие сношения. Он, может быть, презирает ее. Да, он смотрит на нее, как на пустую девушку, на капризную барышню. Впрочем, она первая отказалась выйти за него замуж. Да, отказалась и никогда, никогда не вышла бы, если бы он даже и попросил ее руки. Ни за что на свете не вышла бы! Она даже не замечала, что по ее щекам текут слезы. Но это не ускользнуло от внимания Томилова. Он встревожился.

— Вы плачете? — тихо спросил он. — О чем?

Она опомнилась и, собравшись с силами, еще не без смущения, ответила:

— Вы ведете себя непозволительно!.. Пользуетесь, что я не могу уйти, и допрашиваете... Ведь не в воду же мне броситься!.. Я вам не

дала еще права на эти допросы... Хуже инквизитора!

— Я этого жду так долго, — сказал он.

Она отерла слезы и уже насмешливым тоном спросила:

— Так долго, что даже соскучились?

— Исстрадался!

— Говорят, страдать из-за любимого человека так сладко... Я вот и доставляю вам случай испытать это наслаждение...

Она передернула плечами.

— Да гребите же проворнее! Это, право, скучно... Сидеть целые часы tête-à-tête [2]!..

Оби причалили к берегу и остановились у плота, от которого шла дорога к протасовскому саду. Марья Николаевна быстро выскочила из лодки и направилась к дому. Привязав лодку, Томилов пошел за нею. Он дышал тяжело от усталости и отирал платком покрытое потом лицо. В сотый раз он бесился в душе на Марью Николаевну за то, что она заставляла испытывать его: она то заставляла его скакать с нею сломя голову на лошади, то водила его до усталости по лесу, собирая разные ягоды, то держала при себе по целым ча-

сам за уженьем рыбы, и потом он обязан был грести, то засаживала его читать ей вслух какие-то русские романы, капризничая и сердясь за то, что он читает без чувства, как дьячок. И зачем он все это делает, если она любит другого? Да точно ли она любит? Может быть, это просто каприз, новая шутка над ним, Томиловым? А если она точно любит? Ну, так что же, эта любовь пройдет, так как Мухортов не любит ее. Если бы сказать ей, что он находится в связи с горничной? Об этом весь уезд уже знает через каких-то приживалок. Как жаль, что их нельзя свести с нею. Они открыли бы ей глаза. Но разве может он, Томилов, сказать ей это? Правда, она иногда сама говорит о таких предметах, что ее останавливают, приходя в ужас от ее невоспитанности. Но все же ему неловко. Он не знал, на что решиться...

III

Эта встреча не оставила почти никакого следа в душе Егора Александровича. Он только мельком подумал: «Хорошо еще, что эта девушка не вздумала поиграть так со мною, как она играет с Томиловым». Потом в его уме мелькнула мысль: «И какое счастье, что я отказался от нее, что этот брак не состоялся; с нею я никогда не был бы счастлив; эти вечные переходы от необузданности к грусти, эти капризные ребяческие выходки измучили бы меня». Затем он совсем перестал возвращаться к вопросу о Протасовой, так как более серьезные события всецело поглощали его внимание. Не говоря уже о том, что он приготавливался к близившейся продаже имения, он должен был круто и резко порешить вопрос о Поле. Несмотря на его отказ уговорить девушку выйти замуж или, вернее, вследствие этого отказа, на нее напали все с приставаньями, чтобы она шла замуж. В доме был целый заговор дворни; вся эта родня почувяла, что разорение на носу, что надо урвать поскорее все, что можно, и потому без конца

судила и рядила о выдаче замуж Поли. В отказе Егора Александровича уговорить Полю выйти замуж все видели желание барина избавиться от лишних неизбежных расходов на приданое. По целым вечерам «пилила» теперь Полю Елена Никитишна, та самая Елена Никитишна, которая так долго делала вид, что она даже не замечает связи своей племянницы с барином. Прокофий, подвыпив для храбрости, дошел даже до того, что хотел в самом деле оттащить дочь за косы. Теперь в дело впутались и Дорофей кучер, и Глашка горничная, и Анна скотница, и Матюшка повар, уже не боявшиеся, что на них «зыкнет» тетушка Алена Никитишна, и понимавшие, что «девку нужно долбить и долбить, пока она не восчувствует». Несмотря на все пренебрежение Елены Никитишны к Агафье Прохоровне, последняя была тоже «натравлена» на Полю мухортовской домоправительницей, так как теперь не приходилось «брезговать» никем и ничем.

— И глупа же ты, Полинька, как я посмотрю на тебя, — заговорила Агафья Прохоровна в то самое утро, когда Егор Александрович хо-

дил к дяде за советом.

Поля по обыкновению вышивала на галерее. Агафья Прохоровна сидела около нее со своим вечным вязаньем.

— Своего счастья ты не понимаешь, — продолжала старая дева. — За тебя жених сватается, а ты — вот бог, а вот порог. Разве это дело?

— Одного любить, за другого замуж идти? — проговорила Поля.

— Да кто тебе мешает любить-то? Люби, сколько влезет. Ты голову-то свою прикрой только; ребеночка-то — ведь не ровен час и это будет — законным порядком роди. Так-то, что он будет? Сладость какая ему, когда подрастет, да узнает, что он от девицы рожден. Уж это самое последнее дело, от девицы родиться! И еще будь богачка какая — куда ни шло. А то и срам, и бедность! Нечего сказать, хорошую долю ребенку готовишь...

— Его Егор Александрович не оставит, — со вздохом сказала Поля.

— Что же, ты просила его дать на ребенка-то денег?

Поля вспыхнула.

— За деньги разве я люблю?

— Глупая, глупая! Не за деньги! Да ребенок-то что станет делать без денег? Или ты думаешь, что Егор Александрович сам его сейчас обеспечит? Так на это господа-то недогадливы. А-ах, как недогадливы! А случись, что умрет Егор Александрович вдруг, тогда и иди с дитей по миру...

— Что вы такое пророчите, господи боже! — чуть не плача воскликнула молодая девушка.

— Не пророчу! Пусть живет! Мне что? Не мой хлеб ест... А в животе и смерти бог волен. Умрет — поздно будет думать, как дитя прокормить...

Агафья Прохоровна на минуту смолкла, постукивая с раздражением вязальными спицами. Потом, как бы про себя, заговорила со вздохом:

— Вот уж, поистине, таким-то, как ты, матерями не следовало бы быть. Повеситься милому дружку на шею, себя потешить, — на это вас хватит, а материнского чувства, заботы этой самой о своем детище — этого от вас не жди. Ни боже мой!.. Что вам дитя? Родила его,

да и бросила, хлопот меньше. Пусть голодает да холодает!

Поля чувствовала, что по ее телу пробегает дрожь. Она сделала над собой усилие и сказала:

— Говорю я вам, что Егор Александрович не оставит нас...

— Ну, а я говорю, что это вилами на воде, писано. А вышла бы замуж, он бы и дал обеспечение. Боишься-то ты чего? Муж-то в твоих руках будет, когда капитал при тебе будет. Хочешь — живи с ним, хочешь — нет. Будешь только знать, что и твой грех прикрыт, и дитя, чье ни на есть, а все же законное...

Потом, тяжело вздыхая, она прибавила:

— И Егору Александровичу-то руки развязала бы, вздохнул бы он свободнее... знал бы, что ты пристроена, значит, и он свободен: хочет — женится, хочет — нет...

— Никогда он не женится! — воскликнула Поля.

— Еще бы, когда ты его по рукам связала. Тоже человек он честный, да добрый...

Поля подняла голову и как-то растерянно взглянула на Агафью Прохоровну.

— Может быть, он никогда тебя, замужнюю, не бросит, так все же будешь ты знать, что это он по доброй воле тебя не бросает, а не потому, что стыдно так девку без угла, без призора оставить... Конечно, сам он не станет приневоливать замуж идти, а поди, загляни в душу-то ему — возликовал бы, если бы сама своей волей пошла замуж...

— Да вы-то, вы-то в его душу заглядывали? — с укором сказала Поля.

— Знаю я их всех, господ-то этих!.. Тоже и он мало ли что Софье Петровне говорит... «Не могу, говорит, я жениться, покуда Поля не пристроена»... Ну, вот не сегодня, так завтра и пойдет с сумой...

— Как с сумой?

— Скажите, пожалуйста, она не знает, что у нас все продавать будут... От богатства-то имение с молотка не продают!.. Вот женился бы на Протасовой, так дело-то иначе пошло бы... Да и то сказать, кто ж за него пойдет, если у него любовница есть в доме... Будь ты замужем — никто бы на тебя и внимания не обратил, мало ли господ к чужим женам приваливается...

Перед Полею открывалась какая-то пропасть. Как? Егор Александрович из-за нее пойдет по миру? Ради нее ему отказывают невесты? Что же он молчал! Да и то сказать, мог ли он, такой добрый, такой нежный, высказать ей это? Агафья Прохоровна продолжала «долбить девку», но Поля уже не слушала ее. В порыве великодушия она готова была сейчас же бежать к Егору Александровичу и сказать ему, что она выйдет замуж, лишь бы спасти его. «А сама в воду!» — вдруг пронеслось в ее голове, и ее охватило холодом. А ребенок? Душу детскую загубить? Она вдруг бессознательно перекрестилась, отрекаясь от греховной мысли.

— Ты это что? — спросила удивленно Агафья Прохоровна и даже испугалась выражения глаз Поли: они смотрели совсем безумными.

— Не говорите вы больше, Агафья Прохоровна, — дрожащим голосом произнесла Поля, а ее глаза продолжали смотреть с тупым выражением ужаса. — На грешные мысли навели вы меня!.. Бог вам не простит, если я..

Она не договорила, машинально оставила

работу, встала и медленно, с устремленными бесцельно вперед глазами вышла из комнаты. Ее была лихорадка, так живо представилось ей, как она бросилась в воду и в то же время почувствовала, когда уже не было возврата к жизни, последнее биение ребенка под сердцем. Войдя к себе в комнату, она, как подкошенная, упала на колени перед образами и долго билась головой об пол, прося прощения у всевышнего...

Когда вечером она вошла к Егору Александровичу, он изумился происшедшей в ней перемене. При первом его вопросе, что с ней, — она разрыдалась и рассказала все. Мухортов пришел в бешенство. Он видел, что кругом него составляет целый заговор. Целуя и обнимая Полю, он давал ей самые страстные клятвы никогда не бросать ее. Он убедил ее, что даже мысли не было у него о том, что она служит ему помехой в чем-нибудь. Но ей не нужно было уверений: два-три страстных поцелуя разогнали разом все мрачные думы, все сомнения. Она забывала всех и все, людей и будущее, себя и ребенка, наслаждаясь ласками любимого, обожаемого ею человека. Му-

хортов успокоился не так легко. Когда она ушла, он долго ходил по своей комнате, обдумывая, что делать. Он пришел к заключению, что прежде всего нужно «сжечь корабли»...

Рано утром он призвал Данилу Волкова и, дав ему жалованье за месяц вперед и деньги на проезд в Петербург, отказал ему от места. Этой развязки не ожидал никто в доме...

Пятая глава

I

На следующее утро в «странноприимном покое» происходила горячая беседа. Данило Николаевич Волков не без злобной иронии и напускной развязности рассказывал Агафье Прохоровне, что ему «неожиданный реприманд сделали».

— Уволили-с! Оно, конечно, стубить девчонку легче, чем наградить ее приданым, — развязно ораторствовал он. — Да и то сказать, слухом земля полнится: говорят, что сами ни с чем в трубу вылетят. Где же тут приданое давать! Жалованье, может быть, не из чего давать слугам...

— Ну, господа! Этакой пакости от них я и не ожидала! — восклицала Агафья Прохорова, разводя руками. — И как же, так-таки и сказал, чтобы вы уезжали?

— Да-с, не нужен стал. Говорю вам: жалованья, может быть, не из чего платить! Ну, и придрался к случаю... Вот-то бы я дурака сва-

лял, если бы женился, а после ничего не дали бы. Конечно, у них связи, пристроить бы могли. Да ведь нынче разоренные-то господа втуне находятся. Богатые-то с ними: бонжур, бонжур! [3] — и на другую сторону улицы переходят, свой, значит, карман тоже берегут. Много у нас в столице этаких-то господ панели оббивает...

— Как же вы-то теперь, Данило Николаевич? — любопытствовала Агафья Прохорова.

— Что же я? — небрежно ответил Волков. — Мест мало, что ли? У меня лучшие господа в Петербурге знакомы, деньгами даже кавалергардов ссужал. Меня многие знают. Встретят, — «а, говорят, Данило, как поживаешь?..» Я, признаюсь, и рад, что не навязал себе на шею гулящей девчонки. За меня всякая пойдет: чиновничьи дочери и те за счастье почтут. Притом же я еще в цветущих годах. Жаль было только девчонку, потому сторяча и присватался. Это ведь так было, точно осенение какое. А теперь, как пораздумал, так и вижу, что закабалить себя хотел. Тоже еще погулять самому хочется...

Он стал развязно прощаться с Агафьей Прохоровной, пожимая по-приятельски ее костлявую руку. Когда он удалился, она рассмеялась ироническим смехом.

— Бахвал, право, бахвал! — проговорила она. — И как это стыда у человека нет врать. Кошки, чай, на сердце скребут, что сорвалось, а туда же, комедию ломает. Ну, да он что! А вот наши-то хамки напоролись на историю, как-то выкрутятся?

Не прошло и полчаса, как Агафья Прохорова уже завела беседу с Еленой Никитишной об отставке Волкова. Старая дева заговорила с мухортовской домоправительницей, перемывавшей чашки в столовой, самым невинным и мягким тоном:

— Что это я слышала, Елена Никитишна, будто Даниле-то отказал Егор Александрович от места? — спросила она.

Елена Никитишна смотрела озабоченно и рассеянно ответила:

— Да, да, отказал...

— Неужто правду это Данило-то говорит, что будто потому ему отказали, что он за Полиньку посватался? Оно, конечно, Егору Алек-

сандровичу обидно так ее выдать, да ведь и то сказать, нужно же пристроить ее, обеспечить-то...

Против всякого ожидания Елена Никитишна не вспыхнула и не оборвала Агафью Прохоровну. Она была, видимо, подавлена какими-то нерадостными соображениями. Отставка Волкова подействовала на нее удручающим образом. Проект устройства участи Поли при помощи выдачи девушки замуж уже улыбался старухе. Он казался ей единственным счастливым выходом из затруднительного положения.

— Ведь уж не сам же Егор Александрович женится на Полиньке, — продолжала Агафья Прохоровна. — Как никак, а все же выдать ее замуж следовало бы. Разве только что так обеспечит, наградит ее. И Софье Петровне это, должно быть, очень огорчительно, потому, думала она, что вот устроят девушку...

— Устроишь ее! — ворчливо проговорила Елена Никитишна, поднимаясь с места все с тем же озабоченным выражением на лице.

— Да уж совсем она от этой любви в омрачение пришла, своих интересов не понима-

ет, — сказала Агафья Прохоровна. — У вас-то, я думаю, голубушка, душа за нее изныла. То же не чужая.

Елена Никитишна только махнула рукой. Она поставила чашки в буфет и вышла из столовой, не говоря ни слова. Агафья Прохоровна ехидно улыбалась. Она видела впервые Елену Никитишну в таком настроении. Та была как в воду опущенная, растерянная и подавленная. Старая дева с злорадством глядела ей вслед, очень хорошо понимая все, что творилось в душе ее главного давнишнего врага...

В самом деле, Елена Никитишна никогда не переживала более скверных минут, чем теперь. Она чуяла, угадывала, что разорение в доме было полное, что не сегодня, так завтра должна настать ликвидация дел. Что останется у Мухортовых? Будут ли у них средства содержать всю семью старых дворовых? Нежелание Егора Александровича пристроить Полю равнялось нежеланию выдать девушке несколько тысяч в виде приданого. Но даст ли эти деньги Егор Александрович так, без замужества девушки? Найдутся ли эти деньги после продажи имения, после уплаты долгов? И

где будет жить Поля? У Софьи Петровны? Но Софья Петровна, может быть, останется с одной пенсией? У Егора Александровича? Но разве он, холостой человек, может жить с Полей в Петербурге вместе? А хватит ли у него средств держать ее на содержании отдельно от себя? В голове привыкшей властвовать, гордой по-своему старухи был невообразимый хаос. Она не могла ни до чего додуматься. В душе поднималась тайная злоба против Егора Александровича...

Старуха прошла в спальню Софьи Петровны, чтобы выслушать кое-какие приказания последней. Ее лицо было сурово, брови сдвинуты, губы сжаты. Софья Петровна с первых же слов своей домоправительницы заметила, что та не в духе. С Еленой Никитишной это случалось нередко, и тогда она становилась невыносимо груба с генеральшей, доводя последнюю чуть не до слез.

— Что это, Елена, ты, кажется, опять левой ногой сегодня встала? — сказала Софья Петровна недовольным тоном.

— Что же мне прикажете хохотать, что ли, когда на сердце кошки скребут, — отрывисто

ответила Елена Никитишна.

— Да что случилось? — спросила генеральша.

— А то, что Егор Александрович отказал Даниле за то, что тот посватался за Полю. Вот что случилось!

— Как отказал?

— Обыкновенно, как отказывают нашему брату, Сегодня ему, завтра, быть может, мне, Прокофью, Поле. Нищих-то еще мало по миру ходит! Прибавить нужно!..

— Да не ворчи ты, старая, а говори по-человечески! — нетерпеливо проговорила генеральша. — Что у тебя за манера раздражать! Хочется, верно, чтоб у меня мигрень сделалась!

— Ах, у меня у самой в глазах темнеет, — отрывисто ответила Елена Никитишна.

— Елена, да не мучай ты меня! — молящим тоном воскликнула Софья Петровна.

Она походила на слезливую просительницу; Елена Никитишна на суровую барыню.

— Сама я измучилась, сама! — с укором сказала старая служанка. — Вот думала, хоть пристрою девку, если уж греха не поправить.

Так нет, выгнал Егор Александрович Данилу. Что же он думает с девчонкой сделать? Поиграть, да и бросить? Ведь ни на ней, ни перед ней ничего нет. Стыд один у нее, а больше-то эта самая любовь ей ничего и не принесла!

— Это надо разъяснить! — вскричала Мухортова. — Зачем он отпустил Данилу? Что думает делать?

— Ну, уж это не приходится мне-то у Егора Александровича расспрашивать! — резко сказала Елена Никитишна. — Не мать, не тетка я ему. Мне он отчета не обязан отдавать, хоть Поля-то мне и не чужая. Он и говорить со мной не станет, если уж с вами не советуется... Вот уж не ожидала я от него таких поступков! Этого наш брат, холоп, не сделает! Сгубить девчонку и бросить!..

— Молчи ты, Елена! Перестань ворчать! Это невыносимо! — заговорила генеральша. — Сын отбился от рук, ты нервы раздражаешь, тут эта свадьба не состоялась... Право, я слягу... Да, слягу, вот тогда и ходите за мной!.. Поди, попроси ко мне сейчас же Жоржа...

Елена Никитишна молча повернулась к

выходу.

— У, злая! — детски капризным тоном произнесла генеральша ей вслед.

Она под влиянием чтения нового романа была в это утро в самом благодушном настроении, как будто в доме все шло наилучшим образом, не грозя никакими невзгодами в близком будущем. Слова Елены Никитишны спугнули это светлое настроение, и она теперь готова была капризничать, как избалованный ребенок, у которого отняли игрушку.

Егор Александрович удивился, когда его позвали к матери. Вообще он редко беседовал с ней; в последнее же время эти беседы были еще реже; он сам избегал их, сознавая, что ему предстоит вынести немало неприятностей и без них. Тем не менее он тотчас же пошел на половину матери. Он застал ее лежащую на кушетке с книгой в руках. Услышав его шаги, она отложила книгу в сторону, сделала строгое лицо и обратилась к сыну с вопросом:

— Жорж, я слышала, что ты отказал Даниле? Как же это?.. Он сватался за Полю...

— Вы за этим звали меня? — спросил сын,

саясь на стул.

— Да. Надо же серьезно подумать о ее судьба. Я тебе это говорила. До сих пор...

— Предоставьте это мне, — перебил он мать. — Я уже тоже говорил вам это...

— Нет, Жорж, так нельзя, так нельзя! — загорячилась Мухортова. — Девушку нужно выдать замуж, обеспечить. Это наш долг...

Он сделал нетерпеливое движение.

— Я вас попрошу более не говорить об этом, — резко произнес он. — На днях мое имение перейдет в чужие руки. Тогда...

— Жорж! — воскликнула генеральша, с ужасом приподнявшись, на кушетке.

— У меня останется только охотничий домик над обрывом. Я поселюсь там. Поля будет жить у меня.

— Жорж! — снова повторила генеральша, точно не находя слов для выражения своих чувств.

И неожиданно поднялась во весь рост с места. Она была страшно взволнована. В ее глазах сверкнул недобрый огонек.

— Я тебе этого не позволю! Слышишь, я мать! Ты, ты будешь жить вдвоем с нею, как с

женой? Никогда, никогда!

Она заходила по комнате.

— Я, наконец, теряю терпение! Продать все, сделать скандал, огласить разорение, сойтись, как с женою, с мужичкой... Ты с ума сошел? Да, да... Тебя лечить надо... лечить... И что скажет дядя Жак? Наконец, я могу попросить предводителя дворянства... Ты еще мальчишка... давно ли стал совершеннолетним!.. Книг начитался!.. Студенты, должно быть, твои так живут... санкюлоты!.. Набрался идей и думаешь, что так тебе и позволят ходить с ними... Да, я обращаюсь к властям... есть же права...

Он, весь бледный, с дрожащими от гнева губами, тоже поднялся с места и повернулся к выходу.

— Попробуйте! — коротко и сухо сказал он матери.

В тоне его слов было что-то беспощадно суровое и холодное. Так иногда в былые годы говорил с ней ее покойный муж. Генеральша вздрогнула и вдруг с пронзительным криком бросилась за сыном.

— Жорж, Жорж, пощади! — воскликнула

она, хватая его за рукав. — Я не вынесу, я умру!.. О, как ты жесток... Ведь это позор... Мне нельзя будет никуда глаз показать... Ну, сделай что-нибудь... извернись... займи... Я не знаю, что надо... Но нельзя же так, Жорж!..
Вспомни, кто мы!..

Она упала к его ногам, с театральным трагизмом простирая к нему руки.

— Ты видишь, я у твоих ног!.. Мать у твоих ног!..

Он передернул плечами. В его душе поднималось чувство гадливости, отвращения.

— Даже в горе ты разыгрываешь комедии, — прошептал он с горечью.

Его лицо выражало полное презрение к ней.

— Ах-ах-ах! — послышались истерические рыдания Мухортовой. — Изверг... бездушный... нигилист!.. Бог... бог... ах-ах-ах!.. отплатит тебе!.. В отца весь!..

Она билась на ковре в истерических конвульсиях. Егор Александрович был уже за несколько комнат. Ему становилось омерзительно это ломанье матери. Прежде все эти кривлянья, переходы от возвышенных фраз к

истерикам, от жалующегося тона институтки к возгласам трагической героини, от угроз к пресмыканию у ног — только слегка раздражали его нервы, теперь он просто презирал эту женщину. Она изломалась, искривлялась до того, что в ней было все напускное: и горе, и радость, и пафос, и мягкость, и самые слезы. Про нее нельзя было сказать, что она притворяется; притворяются сознательно, она же вечно играла комедию, не сознавая даже, что она ее играет; она могла истерически рыдать и биться об пол и в то же время испытывать что-то вроде того наслаждения, которое испытывает актриса, доходя в своей новой роли до настоящих обмороков. Егор Александрович очень хорошо знал, что его ожидает не борьба с матерью: генеральша была неспособна бороться; но его ждало худшее — ряд трагикомических сцен, ряд раздирательных криков о пощаде, ряд мелодраматических объяснений. Все это когда-то отравило жизнь отцу Егора Александровича. Все это нужно было вынести, так как нельзя было покуда ни выгнать ее, ни уйти от нее самому...

Единственным средством поскорей прекратить все домашние сцены была продажа имения сейчас же, не дожидая срока, когда придется продавать его с молотка по требованию кредиторов. Егор Александрович хорошо понимал это и боялся, что Протасов станет оттягивать дело или откажется от покупки. Имение было велико, и трудно было ожидать, чтобы покупка его произошла чуть ли не в один день; Егор Александрович понимал, что такой практический человек, как Протасов, десять раз подумает, прежде чем решится пойти на сделку. Надо было побудить дядю всеми силами налечь на Протасова. Егор Александрович пошел к Алексею Ивановичу с твердым намерением окончательно переговорить с ним обо всем. С первых же слов старик спросил племянника:

— Так ты бесповоротно решился на это?

— Да, но я боюсь оттяжек со стороны Протасова.

Старик усмехнулся.

— Младенец ты, Егорушка, в делах, — ска-

зал он, дружески похлопав его по плечу. — Протасов ждет не дождется, чтобы захватить твое имение в свои лапы. Мы с ним, почитай, сто раз все осматривали. Ведь имение-то твое при деньгах — золотое дно. Будь у меня теперь свободный капитал, да я бы и заглянуть в твое имение не дал Протасову. Он целый год, да нет, больше году за мной ухаживает, чтобы эту сделку устроить...

Егор Александрович немного даже смутился и изумился, вопросительно взглянув на дядю. Он никак не воображал, что за его спиной столько времени уже рассуждали о его неизбежном разорении. Они тут толковали об этом, делили, так сказать, его ризы, а он преспокойно смотрел на пиры и балы, даваемые его матерью на последние вытянутые из его имения деньги. В его душе поднималось горькое чувство обиды, досады на себя, на дядю.

— Конечно, если бы женитьба твоя состоялась, ему было бы еще выгоднее, — продолжал разъяснять дядя: — все равно имение-то прибрал бы он в свои руки, так как ты — какой же ты хозяин? Ну, и кроме того, новые связи явились бы у него; один ваш дядя Жак

целого имения стоит. Ну, да сорвалось это — ничего не поделаешь; теперь Протасов много и торговаться не станет, лишь бы имения не упустить. С одной стороны, твой лес ему на руку, с другой — ведь у него тогда, с твоим-то имением-то, чуть не весь уезд в руках будет.

Старик помолчал, потом прибавил:

— Только вот что, Егорушка, ты все мне предоставь обделывать. Сам ты продешевешь. Протасов мужик умный и где можно своего не передаст; а ты сейчас выскажешь, что тебе приспичило скорей да скорей продать. Я не то; конечно, я ему добра желаю, потому мы рука об руку с ним идем, я у него, так сказать, на пристяжке покуда; но все же ты моя кровь — братнин сын. Протасову я уважить рад, но тебя пускать по миру мне не рука. Ты мне верь, я как перед богом говорю, я человек простой; выгоднее я это дело устрою для тебя, чем ты сам.

Егор Александрович усмехнулся.

— Не клянись, дядя, я и так поверю. К тому же я все более и более убеждаюсь, что я точно непрактичный, неумелый человек...

— Ох, Егорушка, правда, правда! Книги вас,

нынешнюю молодежь, идеи губят, — вздохнул старик. — Политические экономии разные вы изучили, говорить станете — просто ахнешь, а приди к тебе первый встречный безграмотный кулак, так он тебе такую политическую экономию в глаза вотрет, что без рубашки из его рук выйдешь. Ей-богу!

— Знаю, дядя, знаю! — сказал со вздохом племянник.

— Ну, так по рукам!

Старик начал расспрашивать, хочет ли Егор Александрович оставить за собою известное количество земли или ему нужнее деньги. Егор Александрович объяснил, что он желает выторговать у Протасова для себя домик над обрывом, построенный когда-то для его отца. Земли ему почти не нужно, так как он не думает вовсе сделаться сельским хозяином. Деньги ему нужнее. Беседа длилась долго. На душе молодого человека было тяжело. Продажа родного, родового гнезда, скопленного в десятки лет скарба, сознание, что при известной практичности в этой продаже не было бы необходимости, все это было далеко не сладко. Его утешала одна мысль, что, при-

нося эту жертву, он загладит все сделанные в прошлом глупости и промахи, что он делается свободным от долгов, от матери, от прошлой беспутно-роскошной жизни на чужой счет.

Не прошло и трех дней, как к нему заехал с Алексеем Ивановичем сам Протасов. Софья Петровна в этот день была приглашена в гости к Алексею Ивановичу; старик озаботился устроить это так по просьбе Егора Александровича; Егор Александрович боялся, что мать сделает какую-нибудь бестактную сцену Протасову и как-нибудь испортит дело. При встрече с Протасовым Егор Александрович невольно изменился на минуту в лице. Его точно что-то кольнуло при виде этого человека, знавшего всю глубину его разоренья, всю его несостоятельность, как дельца, и смеявшегося, может быть, над ним в глубине души. Но Егор Александрович тотчас же совладал с собою и с холодной, светской вежливостью принял старика. От того веяло той же самой холодной сдержанностью. Они заговорили о продаже имения, — заговорили таким тоном, как будто это дело казалось пустяками для

обеих сторон: одному не было вовсе нужды в продаже, другому — в покупке имения.

— Я буду очень рад сбыть всю эту обузу, — спокойно и небрежно сказал Егор Александрович, когда гости уселись в кабинете. — Сам я не умею хозяйничать, а нанимать бог знает кого — это значит разорять себя окончательно.

— Да, это правда, — ответил Протасов, закуривая сигару. — Мне тоже не особенно легко увеличивать свое хозяйство, но просто хочется округлить некоторые части своего имения...

Потом он спросил Егора Александровича:

— А вы разве думаете все-таки здесь жить? Алексей Иванович говорил, что вы хотите удержать за собой охотничий домик...

— О, это прихоть! — ответил Егор Александрович. — Просто, как дачу, хочу удержать его за собою. Притом же это воспоминание об отце... А разве вас стесняет уступка его мне?

— Ну, это такие пустяки... К тому же не у места построен...

— Да, да, — вмешался Алексей Иванович. — Знаешь ли, Егорушка, говорят, что это

место обрушиться может; Желтуха подмывает песчаный берег; сад, пожалуй, когда-нибудь обвалится...

— Не думаю, дядя. Об этом толкуют столько лет. Впрочем, если это случится — что ж делать. Авось это сделается не в то именно время, когда я буду там...

Егор Александрович улыбнулся.

— Купаться с домом во всяком случае не хотелось бы!

Затем Протасов заметил, что он хотел бы осмотреть дом.

— Вы ведь и всю движимость продаете? — спросил он.

— Да, не хотелось бы вывозить все это в Петербург... Притом я еще не знаю — буду ли я долго жить в Петербурге... Меня манит в один из заграничных университетов...

— Ну, да, знаем мы эти университеты! В Париже кутнуть хочется, — вставил Алексей Иванович, похлопав по плечу племянника. — Эх вы, молодежь!

— Отчего же и не отдать дани молодости? — заметил Протасов. — Это так естественно!

Все поднялись и пошли осматривать дом. Протасов останавливался перед такими вещами, которые, по-видимому, не имели никакой цены, и делал о них свои замечания. Все ценное он как будто пропускал без внимания.

— А тут был небольшой Теньер? — вдруг заметил он, окинув глазами стену одной из гостиных. — Вы его вынесли?

Егор Александрович растерялся. Он сам не зная, была ли тут картина Теньера или нет. Алексей Иванович поспешил ему на выручку.

— Нет, картина повешена на половине у Егорушки, — сказал он. — Тут ничего не унесено, все сполна осталось!..

Протасов ничего не ответил ему и, обращаясь к Егору Александровичу, сказал:

— Алексей Иванович говорит, что менее двухсот тысяч вы не возьмете?

Егор Александрович весь вспыхнул на минуту и чуть не вскрикнул от радости, пораженный сразу размерами цены и забывший о долгах. Но Алексей Иванович заметил это неосторожное движение племянника и быстро сказал:

— Это же действительно такая цена, кото-

рую каждый даст.

— Да, конечно, я и не спорю. Кому очень нужно, — ответил Протасов. — Я бы не дал, если бы надо было тотчас выдать всю сумму... Но на имении долги, уплату которых можно отсрочить.

Егор Александрович теперь только сообразил, что крупная сумма денег, обрадовавшая его, в сущности, перейдет не в его руки, а в руки его кредиторов.

— Алексей Иванович передал мне список долгов, они довольно значительны, — продолжал Протасов, — и это отчасти побуждает меня принять условия. Теперь у меня свободных денег не особенно много, соберутся только осенью... Вам придется выдать, кажется, тысяч двадцать с небольшим...

— Я могу, — быстро начал Егор Александрович, готовый рассрочить следовавшие ему деньги, лишь бы разделаться с имением, но дядя перебил его.

— Да, двадцать три тысячи. Их, конечно, нужно сейчас же выдать. Ведь ты, вероятно, очень не долго засидишься здесь, Егорушка.

— Право, не знаю, — сконфуженно ответил

Егор Александрович.

Старик Мухортов чуть не ругнул его, угадав, что племянник готов рассрочить даже выдачу ему этих двадцати трех тысяч, лишь бы скорее все продать. Егор Александрович понял это и с усмешкой проговорил:

— Во всяком случае, я вас попрошу все деловые переговоры окончить с дядею, он имеет от меня полную доверенность и знает все мои условия.

— Да мы уже все и обговорили, — заметил Алексей Иванович.

— Я тороплюсь продать имение, потому что моя мать на днях уезжает, а я сам — мне мешают все эти хлопоты в моих занятиях, — сказал Егор Александрович.

Они переменили тему разговора и, вернувшись в кабинет Егора Александровича, еще с полчаса беседовали о совершенно посторонних вещах. Егор Александрович делал все усилия, чтобы казаться спокойным; Протасов смотрел тоже равнодушно, как будто в эту минуту он и не помышлял о том, что он достиг одной из своих желанных целей. Даже Алексей Иванович усомнился в том, действи-

тельно ли Протасов уж так страстно желал купить это имение, как казалось ему, Алексею Ивановичу. Сам Алексей Иванович принадлежал к числу тех людей, которые не умеют скрывать свои чувства; он даже и не пробовал когда-нибудь надевать на себя маску, что, впрочем, не мешало ему быть ловким дельцом и человеком себе на уме. Он сам про себя говорил: «Я человек русский, я люблю говорить правду-матку» и прибавлял при этом: «Язык мой — враг мой, все выболтает»; он забывал прибавить при этом только одно, что, говоря правду-матку, он всегда как-то ухитрялся выдоить эту матку в свою пользу, и что его язык никогда не выбалтывал именно того, чего не следовало выбалтывать.

Когда гости уехали, у Егора Александровича точно гора свалилась с плеч, и в то же время он вдруг почувствовал страшный упадок сил. Ему казалось теперь, что если бы ему пришлось еще с час побеседовать с Протасовым, то он расплакался бы, как нервная женщина. Несмотря на все доводы рассудка, он испытывал нечто такое, как будто его кто-то унижает, как будто он действительно пере-

живает минуты позора. Но разве разорение позор? Разве желание честно расплатиться с долгами, заявив это прямо и открыто, может быть унижительным? Он задавал себе эти вопросы и все-таки не мог побороть какого-то обидного чувства, вызывавшего на его лицо краску стыда... Софья Петровна вернулась домой от Алексея Ивановича только вечером и привезла сыну письмо от старика Мухортова. Дядя извещал, что дело улажено, и тут же не без юмора замечал, что дело, в сущности, было улажено еще несколько месяцев тому назад, но что Протасову нужно было комедию осмотра разыграть. «И что осматривал, — писал старик, — то, что как свои пять пальцев изучил. Небось, Теньера вспомнил! Его, брат, на кривой не объедешь. Он не то, что мы, простаки!» Не прошло и получаса, как подали чай. Егор Александрович с тревогой в душе, но стараясь сохранить наружное спокойствие, вышел в столовую, где уже сидела Софья Петровна, просматривавшая привезенные без нее письма.

— Ах, этот cher oncle Jacques! [4] — воскликнула она, читая одно из писем. — Я так и зна-

ла, что он будет на моей стороне!..

Она обратилась к сыну.

— Он очень, очень недоволен тобой, Жорж... Я так и знала это вперед!.. Он тоже советует мне в крайнем случае обратиться к предводителю дворянства, если ты не слушаешь и его советов...

Егор Александрович рассеянно поднял глаза на мать, не поняв сразу, о чем она говорит.

— Каких советов?

— Не продавать Мухортова, извернуться, ну, как-нибудь там все уладить... Тысячи людей входят в долги и изворачиваются же... Кто же теперь из порядочных людей не в долгу?.. Все по уши в долгах!.. Мы не кто-нибудь, слава богу...

— Что же, он предлагает деньги? — насмешливо спросил Егор Александрович.

— Жорж! Разве ты не знаешь, что бедный дядя Жак сам вечно без денег? — воскликнула Мухортова. — Разве он, будь у него средства, стал бы служить, — он, любящий так жизнь!.. Не будь его дела в таком страшном положении, он давно бросил бы службу, уехал бы в Париж... Разве его место в Петербурге, в этих

противных канцеляриях?

Егор Александрович насмешливо усмехнулся.

— Ну, а советы без денег не ведут ни к чему, — ответил он. — И дело, слава богу, конечно к тому же...

Генеральша всплеснула руками.

— Как кончено? Как? Я тебя не понимаю!

— За мною останется охотничий домик, — сказал Егор Александрович. — Ваши долги я уплачу... Их на несколько тысяч... Вам я не могу предложить более двух-трех тысяч... И это мне будет нелегко... у меня не останется почти ничего... Вы же... у вас пенсия... масса ненужностей, которые можно обратить в деньги, и... вы к тому же, вероятно, поселитесь у дяди Жака... Ему это даже будет приятно при его одиночестве...

— Боже мой, боже мой, что ты говоришь! — вскричала Мухортова.

Егор Александрович поднялся с места, предчувствуя начало раздирательной сцены. Он был страшно бледен и взволнован.

— При себе я оставляю только некоторых слуг, — продолжал он. — Елена Никитишна,

конечно, не расстанется с вами, Григорий молод и легко найдет место у какого-нибудь мастера... Если нужно, я помогу... Глаша тоже... Другие могут поселиться покуда у меня. Места хватит. Выгнать их было бы грешно. Мы сделали их негодными ни к какой службе...

Он чувствовал, что он дальше не может говорить. Его самого душили невольные, непрощенные слезы, и в то же время в душе поднималась злоба против самого себя за это малодушие. Софья Петровна закрыла лицо руками и разрыдалась. Он вышел из столовой и неожиданно наткнулся на Елену Никитишну. Она, как ему почему-то показалось, подслушивала у дверей.

— Елена Никитишна, мать, вероятно, на днях уедет отсюда навсегда, — сказал он. — Я продал имение... Вас, конечно, должна заботить участь Поли.

Елена Никитишна вдруг поднесла платок к глазам и, тихо плача, проговорила:

— Бог вам судья, Егор Александрович.

— Не плачьте... она не будет брошена... Я сделаю для нее все, что могу, — сказал он серьезно. — Она останется с отцом при мне, и

что бы ни случилось, — они будут обеспечены.

Елена Никитишна смотрела на него растерянным взглядом, не понимая, в сущности, что он говорил. Она не верила, что он мог оставить при себе Полю, жить с нею, как с женою, здесь, на виду у родных. И в то же время она не понимала, как он обеспечит ее племянницу, когда он разорен. Останется ли у него что-нибудь? Передаст ли он что-нибудь Поле? Эти вопросы вертелись на языке у старухи, и в то же время она не смела произнести их. Она только прошептала:

— Бог вас накажет, если вы ее бросите!.. Погубили вы девчонку!..

Он ничего не ответил и прошел на свою половину. В комнате было душно. Он отворил дверь и вышел на террасу. Летняя ночь пахнула ему в лицо теплом и ароматом. Он прислонился к косяку двери, и вдруг в его душе воскресли воспоминания прошлого. В этом доме он родился. По этим аллеям он бегал, играл в детстве. Здесь, на этой террасе, он просидивал долгие часы у ног любимого старика, читавшего ему вслух величайшие созда-

ния поэзии. С удивительной ясностью в его воображении прошли различные эпизоды прошлой жизни. Неизвестно почему, он вспомнил одну сцену: в большой зале, на черном катафалке, лежал старик с седыми, коротко остриженными волосами, с седыми же длинными усами, с покойным, серьезным лицом; в ногах старика, перед аналоем, стоял монах и читал псалтырь; кругом теплились толстые восковые свечи; во всем доме пахло ладаном. Бедный отец! Это он успокоился здесь после долгой боевой службы и после долгих семейных дразг, доведших его до того, что он, герой двенадцатого года, умолял перед смертью не впускать к нему ее, жену. Как его любил его маленький сын, — любил за бесконечные рассказы о великой войне двенадцатого года, о геройских подвигах, где одинаково великими сынами отечества являлись и безусые юноши офицеры, только что сошедшие с паркета, и простые огрубевшие солдаты, покинувшие далеко-далеко полуголодных жен и детей. Как горько плакал около этого катафалка он, маленький Жорж, украдкой пробравшись «к папе». Он вдруг вздрогнул те-

перь, припомнив, как он испугался в этой зале, стоя около трупа отца. На его плечо тогда внезапно опустилась чья-то грубая, точно обтянутая опойком, мозолистая рука и послышался мужицкий голос: «Вот и помни, помни, каким он, твой отец, был! И сам будь таким! Теперь баловать начнут, а ты помни его — вон как он смотрит строго и всю жизнь так будет глядеть на тебя. Да!» Мальчик поднял пугливо глаза к говорившему и увидел загорелое, суровое лицо, обросшее седеющими и выцветшими волосами. Это был отец Иван, их деревенский поп. Софья Петровна ненавидела его и никогда не допускала на свою половину, говоря, что от него «навозом пахнет». Но он был духовником покойного генерала и теперь приходил к покойнику по несколько раз в день, не спрашивая позволения у Софьи Петровны, не обращая на нее внимания. Что сказал бы отец, если бы знал, что он, Егор Александрович, продает свое родное гнездо? Егору Александровичу вдруг стало как-то горько, что он не посетил до сих пор даже могилы отца. «Бедный, бедный отец, все тебя забыли», — прошептал он. И вдруг, рядом с

этим воспоминанием, воскресло другое из более близкого прошлого: он вспомнил один сентябрьский вечер, когда Гуро впервые читал ему, Жоржу, Гамлета, — вспомнил до такой степени ясно, как будто это было вчера: обстановка, отдельные фразы, мелкие замечания, все, все ожило перед ним. Почему? Не потому ли, что потом чуть ли не месяц — нет, больше, больше! — он воображал себя Гамлетом, применяя восторженные фразы Гамлета об отце к своему отцу и сравнивая свою мать с преступной матерью Гамлета. Здесь, из этих окон, он, еще вполне чистый юноша, видел, как она, его мать, склонялась на плечо дяди Жака, и юноша вдруг угадал, почувствовал, какая грязь окружает его. Открытие позорной семейной тайны наполнило горечью его молодую душу, пробудило его мысль, заставило его попристальнее взглядеться в окружающую его жизнь. Везде и всюду он увидел ту же нравственную грязь, прикрытую приличною оболочкою и громкими фразами. В страстном увлечении юноша дал себе обет быть честным человеком, не отделять слова от дела. В те годы он еще часто молился, и в его молит-

вах звучала одна просьба, чтобы бог дал ему силы «быть цельным человеком». В эти годы он часто повторял слова своего любимого поэта:

*«От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви».*

Эти годы прошли, эти чувства уцелели...

В воздухе почувствовалась предрассветная свежесть. Егор Александрович вздрогнул и очнулся. Казалось, он проспал несколько времени с открытыми глазами. Он провел по лицу рукою. Оно было влажно от слез. Он отер слезы, тряхнул головой и громко проговорил:

— Нет, пора покончить со всем прошлым! Прощай, прощай...

В эту минуту он, кажется, обнял бы и этот дом, и этот сад, прильнул бы губами к этой родовой земле, глотавшей его слезы и в радости, и в горе... Ему теперь не хотелось ни о чем больше думать. Его охватила жажда физического движения, деловых хлопот, разъездов по поводу разных формальностей, сопря-

женных с продажей имения. Если бы можно было, он уехал бы тотчас же в губернский город, в Петербург, в Москву, лишь бы бежать отсюда...

В шесть часов утра он уже был на ногах и направился к охотничьему домику над обрывом. Там жил только один сторож. Егор Александрович обошел с ним весь дом, начал намечать, что надо переделать и поправить, сообразил, как он поместится здесь, где будет его комната, где поместить Полю. В десять часов он был уже у дяди и застал всю семью в сборе за чайным столом. Алексей Иванович, поднимавшийся летом с петухами, завтракал в это время. Перецеловавшись со всеми, Егор Александрович сказал, что он страшно проголодался и, к великому изумлению всех, вылил большую чарку водки. Он был сильно возбужден и неестественно весел, придираясь ко всякой шутке, чтобы захохотать чуть не до слез, поминутно наворачивавшихся на его глаза. Все время он упрашивал дядю навалить на него как можно больше хлопот, на что старик шутливо отвечал, что их выше головы и без того будет...

Над крутым обрывистым берегом не широкой, но быстрой и местами очень глубокой речки Желтухи возвышался небольшой одноэтажный деревянный дом, с садиком и двумя просторными надворными пристройками. В одной из пристроек были кухня и помещение для прислуги, в другой — конюшня и хлев. Желтуха делала в этом месте крутой поворот, и домик, казалось, висел над нею со своим садом и пристройками. Сад доходил до самого обрыва. Здесь, не дожидая окончания разных формальностей по продаже имения, поселился Егор Александрович — поселился без матери, уехавшей гостить в имение «дяди Жака» после целого ряда мелодраматических сцен, истерик, слез. Он удержал при себе только Полю и несколько слуг — старика Прокофья, кучера Дорофея, скотницу Анну, повара Матвея. С переселением в новый дом для Мухортова настали дни отдыха после целого ряда хлопот, неприятностей, тревог. Смотря на него, можно было сказать, что этот человек пережил тяжкую болезнь, но и только. Он

похудел, побледнел, но по-прежнему смотрел спокойно, сдержанно и холодно. Холодное и сдержанное выражение лица часто вырабатывается у родовитых бар и выскочек-дельцов. У первых его вырабатывают для того, чтобы они казались выше всяких мелочных дрызг, вторые вырабатывают его для того, чтобы скрыть под неподвижною маскою все гнусные мелочи своей души. У первых оно является следствием дрессировки со стороны матерей и отцов, гувернеров и гувернанток; у вторых — следствием долголетних житейских трепок. Но и у тех, и у других за этою маскою равнодушия и холодности скрывается иногда целый ад мучительных страданий и невыносимых сомнений — ад, в который порою не удастся заглянуть ни одному непосвященному взгляду посторонних людей. Именно таким недоступным для посторонних уголком был душевный мирок Егора Александровича. Вводить туда первого встречного — на это Мухортов был неспособен ни по характеру, ни по воспитанию; а те, кого он, может быть, впустил бы туда, вовсе не поняли бы его. Вся семья дяди Алексея Ивановича, пол-

ная родственных чувств к Егору Александровичу, жила чисто животною, утробною жизнью: они были сыты, обуты и одеты и потому счастливы; они видели, что Егораша выпутался из беды и сохранил кое-какой достаток, и потому считали его тоже вполне счастливым. Разные упреки совести, самобичевания, тяжелые сомнения и тоскливое сознание своего нравственного одиночества, все это, если бы семья Алексея Ивановича и узнала об этом, заставило бы всех ее членов широко открыть глаза и наивно спросить:

— Да чего же теперь тебе недостает, Егораша?

Поля... Ее всеми силами души желал Егор Александрович подготовить к тому, чтобы она могла хотя отчасти делить с ним его радости и горести, его надежды и сомнения, но покуда она жила чисто растительною жизнью. Это был прелестный, роскошно распустившийся махровый цветок, но и только. Цветами можно украшать свое помещение, можно любоваться ими, но уж, конечно, нельзя делиться с ними своими думами, сомнениями и надеждами.

Перебравшись в новое помещение, Егор Александрович прежде всего решил в свободные часы мало-помалу приучать Полю к чтению. Он страстно желал выработать из нее подругу своей жизни, сознавая, как тяжело иметь около себя только наложницу. За чтением он проводил с нею летние вечера, сидя в беседке, находившейся в саду над самым обрывом...

Был один из таких вечеров, тихих и ясных, с медленно наступающими сумерками. Егор Александрович и Поля сидели в беседке. Он читал вслух «Преступление и наказание». Сам он уже не раз перечитал это произведение, но тем не менее он ощущал и теперь тоже волнение при чтении его, какое ощущал, впервые читая этот роман. Он читал страстно, увлекаясь, с разгоревшимися щеками, весь поглощенный болезненным, но тем не менее великим произведением. Поля не спускала своих больших глаз с чтеца, и по ее миловидному лицу с полуоткрытым розовым ротиком блуждала блаженная улыбка. Ни страшная сцена убийства, ни рассказ Мармеладова не спугнули, не изменили этой бла-

женной улыбки. Мухортов раза два, перевертывая страницы, бессознательно подметил это выражение лица своей слушательницы, и оно, совершенно помимо его воли, безотчетно стало его смущать, охлаждать его увлечение. Так нередко бывает с чтецами, не уловившими ухом, а только заметившими взглядом, что где-то шепчутся во время их чтения; этот неслышный, только угаданный шепот развлекает внимание, расхолаживает, конфузит; при нем словно стыдишься своего увлечения, умеряешь пафос, стараешься вслушаться в неслышимые речи. Наконец, Мухортов спросил ее:

— Ты, Поля, понимаешь, что я читаю?

— Читайте, читайте, голубчик, — ответила она, как бы сквозь сон, улыбаясь еще блаженнее.

— Тебе нравится?

— Да... Как, право, вы читаете, точно поют где-то! — восторженно сказала она. — В саду вот так весною: выйдешь, а кругом тебя все поет — где, и сама не знаешь... Я вот все сижу и все думаю, какой вы красавец... Все лицо опять зарумянилось... так и пышет огнем... А

я уж, по правде сказать, боялась, ах, как боялась, что вы бледнете за последние дни стали... думала все, не болезнь ли какая... ведь тоже не долго... Совсем запугалась!..

Он вздохнул.

— Ты все обо мне!

— О ком же мне думать, милый мой, ненаглядный!..

Она поднялась и обвила его шею руками, смотря в его глаза страстными и в то же время добрыми, ласковыми, глупыми глазами.

— Любите? Да?

— Зачем ты это спрашиваешь?

— Все боюсь еще, что разлюбите! Кажется, каждый день, каждый час, каждую минуточку хотела бы слышать, что не разлюбили, что не разлюбите!..

Она начала его целовать. Он закрыл книгу.

— Темнеет, пора кончить чтение... Распорядись, голубка, чаем...

Она еще раз поцеловала его и побежала распоряжаться чаем. Он встал, облокотился на перила беседки, стал рассеянно смотреть на воду и забылся.

— Один, один, вечно один! — проносилось

в его голове, помимо его воли.

И в то же время точно кто-то посторонний задавал ему вопросы:

— А она, Поля? Разве она не с тобою? Разве она не любит тебя? И еще как любит!

В его воспоминании, неизвестно почему, воскресла одна недавняя сценка. Он вошел в комнату. У шифоньерки стояла Поля и укладывала его чистое белье. Когда он входил в комнату, молодая девушка поднесла к губам его носки и поцеловала их. Он так сконфузился, смутился, что не мог даже сказать ей: «Что за глупости ты делаешь!» и сделал вид, что не заметил. Ему было стыдно за нее. Тут было все — любовь, страсть, обожание, безумие. Все существо молодой девушки было поглощено им. Ей нужно было быть с ним в сутки двадцать четыре часа и еще несколько минут. Она отдала ему все и хотела бы отдать ему еще жизнь. Ему недоставало в ней только понимания того, чем он жил, что он думал, о чем он желал говорить. Только! Когда он просиживал часы над любимыми книгами, она не ревновала его к ним, потому что они не мешали ей любоваться им, но она в душе

ненавидела их, потому что ей казалось, что он утомляет себя за ними, бледнеет и худеет, занимаясь ими так долго. Но, боясь этого, она, верно, очень бы изумилась, что его может утомить этот вечный восторг им. Он же сознавал это, и что-то вроде раздражения пробуждалось в его душе, когда, вместо разговоров, вместо тихой беседы, сыпались только поцелуи и ласки. Он старался подавить в себе это раздражение и утешался тем, что этот слишком долгий медовый месяц любви должен будет наконец кончиться, и настанет более трезвый период взаимной приязни; но что же будет тогда?..

Что, если она вечно останется такою?

Вечное одиночество в своем доме, в семье?

Он как-то тупо, бессознательно загляделся на воду, быстро протекавшую под обрывом. Уже совершенно стемнело, и речонка казалась совершенно черной. Делая крутой поворот около обрывистого берега, она как-то зловеще, едва слышно шумела внизу, точно ворча с подавленной злобой. Мухортову вдруг вспомнилось, что, по преданию, во время постройки дома и разбивки сада над обрывом

именно в этом месте свалился вниз и утонул рабочий. Одни говорили, что он сам бросился в воду, другие толковали, что он был под хмельком и упал случайно. Но, так или иначе, все говорили, что это плохое предзнаменование и пророчили, что речонка когда-нибудь в половодье окончательно подмоет песчаный берег, и беседка с частью сада обрушатся в воду. Нечего ждать добра от дома, когда и постройка-то его началась с самоубийства! Недаром же в нем и не заживался никто подолгу: год поживут, — глядишь, или помрет кто, или по какой-либо другой несчастной случайности удалится в другое место, и опять стоит дом с заколоченными окнами. И мысли Мухортова вдруг перескочили к его собственному положению. Легче ли будет ему протянуть так всю жизнь здесь, где нет ни одной родной души, чутко могущей откликнуться на призывы его души, чем разом броситься в эти темные волны? Что значит эта минутная страшная смерть перед целым рядом скучных дней чисто животной жизни? Жить для других, для общества, — но разве он, связанный теперь неизбежными заботами о беспомощ-

ной девушке, о будущем ребенке, может быть, о многих и многих детях, может жить для пользы общества? Его песня спета, его тянет кто-то вниз, в тину — из тех высших сфер, куда еще так недавно рвался он. Он вздрогнул и очнулся как бы от страшного кошмара. С чего это ему пришла мысль о самоубийстве? Видно, все последние события не прошли даром для нервной системы! В нормальном состоянии о самоубийстве не думают. Он вспомнил внезапно слова бездомного, бессемейного, вечно нуждавшегося, но стоически твердого старика Жерома Гуро.

— Самоубийство, — с обычной витиеватостью объяснял как-то Гуро своему воспитаннику после чтения Вертера, — это или сумасшествие, или жалкая трусость мелочного эгоизма. Великие люди, жившие в самые страшные, в самые мрачные эпохи падения и разложения человеческих обществ, конечно, страдали много, страдали страшно; но они не налагали на себя рук, а стремились бороться с обществом, с его пороками, проповедовали великие истины, идеи правды и любви, шли за эти идеи на гильотины, на костры, на висе-

лицы с твердой верой, что их мучения принесут в будущем пользу, тогда как самоубийство никогда и никому не приносило пользы, если оно не было совершено за человечество, как великая жертва, принесенная Лукрецией, покончившей с собою, чтобы возбудить к мщению сограждан. Самоубийство, если оно не сумасшествие и не пожертвование собою для родины, — это сознание, что человек бессилен, что он ничего не может сделать ни для себя, ни для ближних, а такое сознание всегда признак трусости: кто смел, тот идет на борьбу, а не бежит с поля битвы укрыться от врага в убежище смерти. Из-за чего люди посягают на свою жизнь: из-за личных несчастий, из-за личных неудач, по большей части, из-за пустяков, уподобляясь тем капризным и настойчивым детям, которые, когда не исполняются их мелкие капризы, бьются головами об пол, доходят до судорог, стремясь настоять на своем. Дети — бессмысленные эгоисты, самоубийцы — почти всегда тоже такие узкие и тупые эгоисты. Кто любит искренно ближних, тот никогда не убьет себя, зная, что он им нужен, что он может им помочь, только

оставаясь в живых, что решиться на самоубийство, значит, решиться на дезертирство во время решительного боя...

Все эти мысли Гуро живо вспомнились теперь Мухортову, и какой-то внутренний голос говорил ему:

— Ищи дела, сложного, поглощающего всю душу. И тебе никогда не придут в голову мысли о самоубийстве, как бы ни была печальна твоя частная жизнь. Ведь не приходили же эти мысли тебе в голову в те недавно прошедшие дни, когда ты энергично и деятельно устраивал свои дела, как того требовала твоя честь, а между тем это было нелегко.

И перед Мухортовым пронеслись картины недавнего прошлого: весть о разорении, поразившая его, как громом; возбудивший в его душе омерзение проект его женитьбы по расчету; разрыв с матерью, ради его желания честно расквитаться с долгами и загладить свой проступок относительно Поли, продажа имения Протасову на глазах соседей, смотревших на него, Мухортова, как на жалкого разоренного человека; тяжелые, раздражающие сцены истерик и обмороков матери, когда он

решился поселиться на новом месте с Полей, — все это нелегко было пережить, — пережить не в долгие годы, а в несколько недель, в несколько дней; но пережил же он. Нужно только верить в свои силы; не следует отступать, надо работать...

Но где же эта спасающая от всяких сомнений, поглощающая всю душу работа?..

Шестая глава

I

Мародерство во всех его видах неизбежно сопутствует всяким общественным бедствиям вроде войны, мора, пожара и тому подобного. Грабители среди смятения и шума пользуются удобным случаем для захвата чужой собственности. В частной жизни есть тоже мародеры, старающиеся урвать себе какой-нибудь кусок при дележе имущества после покойника, при продаже с молотка чужой собственности. Из породы таких мародеров была Агафья Прохоровна. Смерть чужих матерей, теток, жен и сестер всегда пробуждала в ней желание урвать тайно или явно клочок наследства, и она постоянно выходила с добычей из дома, где был покойник, — с добычей на помин души или на память. Эта жажда мародерства должна была пробудиться в ней в еще большей степени, когда старая дева узнала, что в Мухортове все поступит в продажу и что Софья Петровна навсегда уедет из своих

палат. Ее охватило какое-то бешенство грабежа. Как ворон над падалью, носилась Агафья Прохоровна над открытыми чемоданами и баулами генеральши и разгоравшимися глазами следила за каждой укладываемой в них овещью. Она садилась на корточки около этих чемоданов, считала каждую вещь, дрожала при виде новых и новых сокровищ. Никогда она не была так униженно льстива, как теперь, с генеральшей, с Еленой Никитишной и даже с Глашкой-горничной; никогда она не ненавидела их так страстно, как теперь.

«Пять дюжин шелковых чулок! Семь манто! Кружев — десять человек обмотать можно! И куда это все теперь Софье Петровне!» — восклицала она мысленно, точно Мухортова должна была завтра же умереть, и всеми доступными ей способами подговаривалась ко всему, что можно было присвоить.

Ее глаза горели, как уголья, от зависти и злобы, а запыхавшийся от волнения голос был так певуч, точно она старалась убаюкать своих слушательниц, чтобы их ограбить во время сна. Она обыкновенно ругала наследников покойников, после которых ей давали

старые тряпки, — ругала за скаредность. Теперь она чувствовала, что она будет ругать Софью Петровну, так как все, что ей давали, казалось ей недостаточным. Никогда она еще не чувствовала такой потребности вылить ушаты грязи на Мухортову, как в эти минуты, когда все доставшееся ей являлась в ее глазах таким ничтожным в сравнении с оставшимся у генеральши. Но эта злоба дошла до бешенства, когда Елена Никитишна в одно прекрасное утро не досчиталась кружевных воротничка и манжет.

— Агафья Прохоровна, это ты взяла? — грубо спросила мухортовская домоправительница у старой девы.

— Что-о? Я? Я взяла чужие вещи? — воскликнула Агафья Прохоровна в волнении, и на ее щеках выступили красные пятна.

— Ну, ну, подавай! Кроме тебя взять никому! Не тебе только носить брюссельские кружева! Нашла тоже, что скрасть.

— Скрасть? Да как ты смеешь? Как ты смеешь обижать благородную особу? — визгливо закричала приживалка.

Они сразу перешли на грубое «ты», грыз-

лись без всяких стеснений.

— Говорят тебе, сейчас подай! Не то во всех платьях карманы обыщу, — прикрикнула Елена Никитишна, топнув ногой.

— У меня? Карманы обыскивать? У меня?

— А вот увидишь у кого!

— Руки еще коротки.

— Я тебе покажу, коротки они или нет!

— Попробуй! попробуй!

— И попробую!

Елена Никитишна быстро направилась к странноприимному покою. Агафья Прохорова бросилась вперед туда же и точно обезумела. Она захватила со стола скатерть, быстро начала срывать с вешалок платяного шкапа свои вещи и, сваливая их в кучу, стала связывать узел, комкая все свои пожитки.

— Духу моего после такой пакости здесь не будет! Минуты я здесь не останусь! — кричала она вбежавшей за нею в комнату Елене Никитишне.

— Да ты обезумела, что ли? В нашу скатерть свое тряпье увязываешь! — в свою очередь, крикнула мухортовская домоправительница, хватаясь за скатерть.

Началась положительная борьба. Манжеты и воротничок из брюссельских кружев были забыты. Бой шел из-за скатерти. Обе женщины вдруг позабыли свои роли, — одна свое благородство, другая свой ранг старшей из слуг, — и ругались, как последние базарные торговки, дергая в разные стороны узел. Казалось, они были готовы разодрать все, чтобы только не уступить.

— Не съем вашу скатерть! Только вещи донесу и пришлю. Подавитесь ею! Грабители!

— Ты грабительница, а не мы! Мы трудом кормимся! Это ты бродяга бездомная!

— Хамы поганые!

— Сама хамка! погоди еще! Так не уйдешь! На дороге догола разденут да обыщут.

— Посмейте!

— А вот увидишь!

Елена Никитишна, вся покрытая потом, выбившаяся из сил, бросилась докладывать Софье Петровне, что «Агашка» их обворовала. У Мухортовой была мигрень, и она только замахала в отчаянии руками.

— Пусть грабят, пусть! — застонала она. — Мне ничего не надо! Ради бога, избавьте меня

от новых скандалов!

В это время Агафья Прохоровна уже набросила на плечи бурнус, надела второпях набок шляпу с красными маками и неслась через двор из дома.

— Погодите, погодите, голубчики, я вас расславлю! — кричала она в бешенстве. — На весь уезд, на всю губернию!..

И расславила. Это было тем более удобно, что судьбою Мухортовых интересовались все.

Егор Александрович на некоторое время неизбежно должен был сделаться героем дня в своем муравейнике. Весть о разорении Мухортовых, о продаже их имения, о продаже их наследственной движимости, серебра, картин, мебели — все это привлекло внимание всех окрестных помещиков к Мухортову, и, хотя Мухортов старался обделать дело с глазу на глаз с Протасовым, покупавшим все, что продавалось, тем не менее нашлось немалое число любопытных, желавших взглянуть на молодого человека, поговорить с ним, чтобы потом рассказывать, как он поражен разорением, как он перенес этот удар. Все были несколько разочарованы, встретив в «бедном

молодом человеке» какое-то необъяснимое для всех спокойствие и равнодушие. Сперва стали говорить, что он ловко притворяется, потом пришли к убеждению, что он поступил, как герой. С своей точки зрения эти люди, может быть, и были правы. Действительно, для них казалось героизмом стремление распутаться разом с долгами ценой пожертвования родовым именем; они на месте Мухортова, наверное, попробовали бы изворачиваться до последней степени, влезать в новые неоплатные долги, лишь бы не ликвидировать своих дел на глазах у всех. Разорены, в сущности, была чуть ли не все в уезде и даже в губернии, за исключением Алексея Ивановича и Протасова; большинство не видело впереди никакой возможности выкупить свои имения, особенно ввиду падения нашего рубля, и с трудом выплачивало даже проценты, но вое изворачивались до последней возможности, шли на всякие сделки и с своею совестью, и с совестью ближних. Увидав же, что за Мухортовым, согласно предварительному условию с Протасовым, уцелел небольшой участок земли с домом, узнав, что, кроме того,

у Мухортова осталась не одна тысяча наличных денег от продажи движимости и недвижимости, молодого человека начали звать сумасбродом, несмотря на все протесты Алексея Ивановича, доказывавшего всем и каждому, что его племянник поступил крайне практично, что он теперь «чист от долгов, как стеклышко», что, не разрубив разом гордиева узла долгов, он только запутался бы в новых займах под бременем непосильных процентов. Упорное заступничество Алексея Ивановича за племянника навело многих прямо на мысль, что Алексей Иванович просто опутал племянника, отмел его заодно с Протасовым. Сплетня найдет везде пищу. Сначала все были убеждены, что Мухортов, распродав все и публично явившись разоренным человеком, тотчас же уедет из имения, чтобы скрыться от «позора». Но Мухортов спокойно остался жить в имении и имел такой вид, как будто с ним не случилось никакого несчастья. Это сделало его интересным, особенно в глазах барынь, желавших посмотреть на него, как на чудо.

Однако, к величайшей досаде любопыт-

ных, молодого Мухортова было нелегко встретить в так называемом порядочном обществе. Он с первых же дней переселения в охотничий домик повел странную жизнь. Он стал ежедневно совершать отдаленные прогулки, посещая то ту, то другую деревню; где было возможно, он подолгу беседовал с мужиками, присматривался к их жизни, вникал в их быт, изучал все, что поддавалось изучению. Перед ним была открыта новая книга — книга народной жизни, и он жадно стремился заглянуть хоть в некоторые ее страницы, сознавая не без горечи, что именно в этой области у него является громадный пробел знаний. Это стремление не ускользнуло от наблюдательных глаз ближних, и в какую-нибудь неделю или две создалось толков о Мухортове чуть не на год. Одни утверждали, что Мухортова видели у опушки леса сидящим в кругу оборванных бродячих нищих; другие рассказывали, что он посетил в одной деревне кабак с партией фабричных рабочих; третьи говорили, что к нему ходят толковать и спорить местные сектанты, проповедующие равенство людей во всех отношениях и даже в имущем.

ственным. Преувеличения росли не по дням, а по часам, принимая иногда чудовищные размеры. До простой мысли о том, что человек хочет поближе узнать свой родной народ, не доходил никто. Но каковы бы ни были эти нелепые или комические рассказы, они все оканчивались одним зловещим припевом:

— Это недаром! Теперь такие времена!

Все как будто ждали, что вот-вот молодой человек произведет нечто страшное, нечто такое, за что не похвалят. Связь с Полей, сплетни Агафьи Прохоровны, рассказы недвольного барином Прокофья о житье-бытье в охотничьем домике — все это только подливало масло в огонь. Толкуя о связи Мухортова с Полей, Агафья Прохоровна говорила:

— Он всем благородным девицам афронт нанес. Где бы с хорошими людьми, где барышни заневестились, сойтись, а он с хамкою в амуры вошел. Повенчаться хочет. Говорят, теперь и в облачении мужицком ходить стал, а туда же, дворянином считается! Тоже слышали мы, что таким-то долго на воле ходить не позволяют. Родная мать и та хотела дворянскому предводителю жаловаться! Так

ведь он чуть не убил ее. Ну, известно, женщина слабая, от греха и уехала. Как есть разбойник на большой дороге!.. В церковь, в храм божий, никогда не заглянет!.. И как это Алексей Иванович к нему своего Павлика пускает? А впрочем, тот-то тоже хорош; из седьмого класса гимназии за бунт выгнали...

Прокофий тоже негодовал на молодого барина со своей точки зрения.

— Ни к нему никто из господ не ездит, ни сам ни к кому не заглянет, — говорил он. — Прежде как-никак, а все же, бывало, господа заедут, на чай перепадет... А теперь, коли и придет кто, так мужик. С собой сажает, чаем поит... У нас при барыне в передней мужик, бывало, постоит, так курить амбре велют!.. Тоже выдумал моду: дрова сам колет, гряды копает. Сказал я ему, что не господское это дело, так меня же вышутил: «Глупый ты, говорит, это я для здоровья, силы набраться хочу...» А на что ему силы? В кулачный бой, что ли, идти?.. Ел бы лучше, как господа, а то у нас Матюшка, повар-то наш, говорит: «Этак я забуду, как и готовятся господские кушанья...» Почитай, то же ест, что и мы, грешные... В папень-

ку, верно, пошел: тот тоже все щи да кашу ел... Так тот это по солдатскому положению, на войне привык...

В гостиных про Мухортова говорилось еще больше глупостей и нелепостей. Даже сам Кокко Томилов, избегавший прежде всяких разговоров о Мухортове, так как говорить о нем хорошо он не мог, а говорить дурно о бывшем своем сопернике считал недостойным джентльмена, не мог не принять теперь участия в этих толках.

— Что с ним? — говорил он у Ададуриковых, пожимая плечами. — Он ходит бог знает в каком наряде: в высоких сапогах, в блузе, подпоясанной ремнем. Можно за мастерового принять.

— В нигилисты пошел! — не без едкости заметила старшая из Ададуриковых.

— Что? В нигилисты пошел? — переспросила глухая Ададурикова. — Он и всегда был нигилистом! Я сейчас, как увидела его, сказала: нигилист! Над спиритизмом глумился, про отца Николая заговорила — гримасу сделал!

Средняя сестра Ададурикова всегда всего пугалась.

— Ах, уж не прокламации ли он разбрасывает? — воскликнула она с ужасом, обводя всех оторопевшими глазами. — Чего же смотрят?

Томилов презрительно заметил:

— Я не знаю, нигилист он или нет, но я знаю, что он невежа: мы были представлены друг другу, а он не считает нужным отведать на поклоны...

— Современное воспитание! — ядовито вставила старшая из Ададуриных.

— Что? Современное воспитание? — переспросила глухая сестра. — Глупости! Кто это его воспитывал? Отец? Казармой от него пахло! Мать? О ее молодости лучше не говорить, а теперь Зола на столе открыто держит! Правда, был при нем гувернер. Так кто же не понимает, что это за человек был: беглый революционер, скрывавшийся от гильотины!

— Ах, та sœur [5], молчите, молчите! — испугалась средняя сестра. — Разве теперь такие времена, чтобы упоминать о революции и гильотине!

И затем, обращаясь к Томилову, она молящим тоном прибавила:

— Ради бога, старайтесь не встречаться с ним, делайте вид при встрече с ним, что не замечаете его, а то и вы можете пострадать, и мы все...

Она даже вздрогнула при этой мысли.

— Мне рассказывали в Москве, что вот один такой ходил к разным лицам в гости, со многими говорил, с иными только кланялся, а потом вдруг попался и всех за ним привлекли. Потом стали исследовать, с кем и эти люди знакомы, и тех тоже привлекли...

Она широко открыла глаза, сама пораженная нарисованной ею колоссальной картиной привлечений, и перевела дух.

— Потом пять лет так-то всех привлекали! Вот какие это люди!

— За Марью Николаевну нужно опасаться, — осторожно заметил Томилов.

— Разве Марью Николаевну можно удерживать от чего-нибудь, когда ее отец сам дал ей волю! — желчно воскликнула старшая Ададурова.

— Что? Волю дали? Кому опять дали волю? — переспросила, встревожившись, глупая сестра.

— Мари! — ответила старшая.

— А! Мари! Замуж надо выдать, вот и не будет воли!

— Ах, я готова хоть сейчас уехать в Москву, чтобы подальше от него! — пугливо сказала средняя сестра. — И Мари там будет в безопасности!..

Даже сам Алексей Иванович, отмахивавшийся руками, когда заговаривали о «политике», то есть о чем бы то ни было, не касавшемся прямо его личного хозяйства, — даже он заметил как-то племяннику;

— Егорушка, ты остерегайся!

— Чего, дядя?

Алексей Иванович развел руками.

— Так, остерегайся!.. Черт его знает чего, а все же береженого и бог бережет... Вот о тебе все говорят.

— Что говорят?

— Да я-то почему знаю! А говорят!.. Нынче такие времена, что опасно, если про человека говорят... И что тебе за сласть, если говорить будут?..

— Да ведь не могу же я запретить...

— Так-то так, а все же.

Старик махнул рукой.

— Прохвосты нынче люди!

II

До Марьи Николаевны доходила тоже значительная часть этих бесконечных толков.

Она невольно задумывалась о Мухортове. Что это за странный человек: он не сделал ни одного шага, чтоб поискать ее руки для поправления своих дел; он хладнокровно потерял большую часть своего имения; он оставался веселым, когда все смотрели на него, как на несчастного разоренного человека. Иногда в ее душе поднималось против него чуть не враждебное чувство, точно он лично ей нанес глубокое оскорбление, не посватавшись за нее. Порою она вдруг горячо вступалась за него в обществе и говорила, что это единственный честный человек, встреченный ею в жизни. То ей становилось до слез досадно на то, что она думает о нем, то ей страстно хотелось увидеть его, сдружиться с ним, заглянуть в его душу. Эта двойственность душевного настроения выводила ее из

себя, и она вымещала свое раздражение на своем женихе. Он решительно не знал, как угодить ей, как попасть ей в тон. Он, может быть, давно бы изнемог, устал от этой игры в кошки и мышки, если бы она не была такой выгодной невестой. Из-за нее можно было перенести многое. Крупные призы на жизненной арене вообще достаются нелегко. С Мухортовым Марья Николаевна не встречалась давно, и когда ей пришлось снова увидеть его в доме Алексея Ивановича, она совершенно смутилась. Егор Александрович раскланялся с нею и тотчас же стал продолжать прерванный на мгновение ее приходом разговор о будущей охоте с Павлом Алексеевичем. Ее почему-то раздражило это равнодушие, точно она ждала, что Мухортов бросится к ней с распростертыми объятиями или, в крайнем случае, взволнуется, изменится в лице. Но Егор Александрович продолжал громко веселую болтовню со своим юным двоюродным братом, страстным охотником.

— За что это Егор Александрович дуется на меня? — вдруг спросила она у двоюродных сестер Егора Александровича.

— Как дуется? — воскликнули Зина и Люба. — С чего ты взяла?

— Даже не удостоил ни одного слова, — ответила Марья Николаевна. — Впрочем, он теперь, говорят, драпируется своим геройством и равнодушием.

— Что ты выдумала, милочка! А вот мы его сейчас призовем к исповеди, — со смехом сказали барышни и крикнули:

— Егораша!

— Не надо! Не надо! — быстро вскрикнула Протасова, остановив их в смущении.

— Что? — отозвался Мухортов.

— Брось ты свои противные разговоры об охоте. Иди сюда! — кричали кузины.

— Сейчас! — ответил Егор Александрович и отошел к барышням.

— Ну, что вам? — спросил он.

— Вот Маша говорит...

Марья Николаевна раздражилась.

— Вы вечно глупите! — проговорила она. — Нельзя сказать ни слова... Это же не деликатно!.. Пора перестать наивничать!..

— Она говорит, что ты дуешься на нее, — пояснили Зина и Люба, не слушая ее замеча-

ний.

— Я? Дуюсь? — он обернулся к Марье Николаевне и проговорил: — За что же я могу дуться на вас, я не понимаю...

— Ах, это они все глупости говорят, — сказала она сконфуженно и тотчас же с напускной бойкостью прибавила: — Впрочем, вы и не поверите им, зная, как я мало обращаю внимания на то, как кто на меня смотрит. Очень мне это нужно!

— Вы вполне правы, я это знаю, — коротко согласился он.

— И потом говорит, что ты рисуешься своими подвигами. Это ты-то! — не унимались молоденькие кузины.

— Подвигами? Какими? — спросил не без удивления Егор Александрович и вопросительно, пристально взглянул на Марию Николаевну, ожидая ответа.

Она побледнела, как полотно; на ее глаза навернулись слезы от досады. Ей стоило немалого труда, чтобы удержаться от крупной ссоры с барышнями Мухортовыми. Она не отвечала ни слова. Ему стало жаль ее, но тем не менее он заметил ей с упреком, хотя

мягко и ласково:

— Зачем вы повторяете чужие толки, со-знавая всю их пошлость?

Марья Николаевна подняла на него пол-ные слез глаза, как провинившаяся девочка.

— Не сердитесь на меня, — сказала она за-душевно и протянула ему руку. — Я сама не понимаю иногда, что со мной делается... И за-чем они это вам сказали? Поссорить хотят с человеком, который...

Она остановилась, точно поперхнувшись. Кузины Егора Александровича бросились ее целовать.

— Милочка, не сердитесь! Это ведь шутка! Разве Егораша рассердился? Да он и не умеет сердиться!

Егор Александрович спокойно заметил:

— Я не имею права сердиться на Марью Николаевну.

И, обращаясь к Протасовой, он добавил:

— Мне просто стало больно, что именно вы повторяете эти толки обо мне.

Он поспешил переменить разговор, и че-рез две-три минуты неприятная сцена забы-лась. К Мухортовым приехал кто-то из сосе-

дей, и Егор Александрович совершенно неожиданно остался с глазу на глаз с Протасовой. Она предложила ему пройтись по саду, видимо обрадованная возможностью поговорить с ним без свидетелей.

— Вы не сердитесь на меня? — спросила она его, идя с ним по тенистой аллее.

— Я? Что вам пришло в голову, Марья Николаевна? Нисколько, — ответил он.

— Мне казалось, что так... или, если не сердитесь, то избегаете меня, — закончила она нерешительно.

— В последнем случае вы, может быть, и правы, — сказал он. — Но в этом ни я, ни вы не виноваты. Если уж пошло на откровенность, то надо договаривать все. Нас с вами поставили в крайне неловкое и нелепое положение.

— Ну, вот глупости! Я знаю, о чем вы говорите!

— Верьте мне, что я не имел на вас никаких видов. Я понимал всю гнусность этих планов, составившихся без моего и без вашего ведома. Правда, была минута, когда я почти согласился. Но...

— Что?

— При встрече с вами я сам устыдился за себя. И знаете, почему?

Он улыбнулся.

— С одной стороны, мне показалось, что я не сумею лгать именно перед вами, с другой — я был убежден, что вы мне прямо в глаза скажете, что я лгу, и скажете это так, как не говорят в так называемом «обществе» — сгубите...

Она молчала и о чем-то задумалась. Он продолжал тем же спокойным и веселым тоном:

— Впрочем, мне и не удалось бы посвятаться за вас, если бы даже и вздумал, так как вы сами тотчас же отказались от меня, узнав о моих планах.

— Да, мне стало так больно, больно, когда я узнала, что даже вы ищите моей руки, не любя меня, — горячо проговорила она.

Она взглянула на него полным нежности взглядом.

— Вы единственный человек, с которым мне так хорошо, — просто проговорила она. — Это странно, но мне кажется, что мы

были друзьями с детства, точно вы мой старший брат. И вдруг вы бы стали свататься за меня!.. Это било бы низко!.. Нет, нет, я так тогда рассердилась, точно это разрушало мои лучшие верования...

— Увлекающийся вы человек! — улыбнулся Егор Александрович. — Ваши верования в меня составились по двум свиданиям.

— Нет, — ответила она, — даже не по двум свиданиям, а просто как-то по чутью. В обе наши первые встречи мы даже не поговорили толком... Впрочем, о вас мне много говорили до вашего приезда...

— И, конечно, все только хорошее, — прибавил Егор Александрович. — Ведь меня прочили в женихи, и вас нужно было подкупить...

— Нет, я знаю, что о вас говорили правду!

— Обо мне, говоря правду, можно было сказать одно: это добрый человек, потому что ему не с чего быть злым; это честный человек, потому что ему нет нужды быть бесчестным. Это еще не великие заслуги, Марья Николаевна. Ими отличается, или, вернее, сказать, может отличаться большинство силь-

ных мира. Злоба и бесчестность в богатых и сильных — это аномалия, уродство. Правда, эта аномалия встречается часто, но все-таки аномалия... Я ею не страдал, я не был ни злым, ни бесчестным. А вот теперь, когда я стою на пороге к делу, к добыванию хлеба, я сам в своих глазах оказываюсь вполне несостоятельным.

Он заговорил о том, что его теперь тревожило и волновало. Читая и учась много, он менее всего готовился быть сельским хозяином. Присматриваясь теперь к хозяйству дяди и окрестных крупных землевладельцев, он начал приходить к заключению, что он никогда не будет вообще хозяином. Тут нужно быть кулаком, эксплуататором отчасти, чтобы подешевле добыть рабочих, чтобы заставить их работать неустанно, чтобы держать их в страхе. Тогда получатся и барыши.

— Может быть, даже и в настоящее переходное время есть другой путь для того, чтобы не обижать ни других, ни себя, — прибавил он, — но этого пути я еще не вижу совсем; знаний у меня, может быть, для этого нет. Идти же общим путем, то есть знать, что каж-

дый лишний грош нужно выжимать из ближних, что благосостояние надо сколачивать из чужих пота и крови, для этого — не скажу, что я для этого слишком мягок, добр и честен, нет, — белоручка я слишком для этого покуда...

— Для чего вы стараетесь умалить свои достоинства? — спросила она.

— Да еще сам я не вижу их, — просто ответил он. — Вон, в первую минуту разорения согласился же жениться по расчету и отказался от этой подлости вовсе не по личной добродетели. Я же это отлично сознаю и вовсе не желаю скрывать от себя. Играть в прятки и в жмурки с самим собою — это значит самому тащить себя в омут падения... Потом в моей жизни была ошибка...

Он вдруг оборвал речь и потом закончил:

— В душе каждого из нас, право, столько прирожденной, наследственной или усвоенной дрянности, что кичиться своими добродетелями вовсе не приходится. Правда, кодекс нравственности нам всем известен чуть не с пеленок, да толку-то в этом немного. Мы говорим великие фразы и творим мелкие подло-

сти...

— Или ничего не делаем, как я, да и все барышни вообще, — добавила она со вздохом.

— Да, кстати! — сказал он серьезно. — Неужели вам не надоест эта праздность?

— А что же делать?

— Ну, не хотите благотворить, учить крестьянских ребятишек, посещать бедных, как делают разные барышни и барыни, так учитесь. Ведь выйдете же вы когда-нибудь замуж. Подготовьте себя хоть к этому...

— То есть, как?

— Да хоть подготовьтесь к тому, чтобы быть хорошей подругой мужу, а, главное, хорошей матерью. Я почти согласен с вами, что быть благотворительницей, — это значит брать с бедняков рубль и давать другим беднякам грош, что быть работающей женщиной, имея средства, — это значит отбивать хлеб у других. Это почти так.

— Как почти?

— Да ведь есть же отрасли труда, где можно работать, не отбивая хлеба. Вот, женщина-врач, имеющая хороший достаток. Разве она отобьет у кого-нибудь кусок хлеба, леча

бесплатно бедных? Врачей мало, и на всех хватит работы, да к тому же бедняки, идущие лечиться даром, за деньги не пошли бы лечиться. А школы? Разве бесплатная школа отобьет хлеб у учителей? Учителей и учительниц мало, и место всегда им найдется. Вообще, я многое и многое мог бы возразить и против вашего взгляда на благотворительность. Ведь благотворить можно, и не сдирая шкуры с других, а отказывая себе в тех излишествах, которых так много в жизни людей нашего круга... Но если вы с этим не согласны, то должны же вы согласиться, что быть хорошей, разумной матерью лучше, чем быть такою матерью, какие встречаются в нашем кругу сплошь и рядом. Вы сами заметили мне, как тяжело вам было расти без матери. Поверьте, что вам было бы хуже, если бы вы росли, имея дурную мать. Не иметь матери — это горе, иметь дурную мать — это глубокое несчастье. А для этой подготовки нужно немало работать... Не сердитесь, что я даю вам советы, но мне, право, просто обидно за вас, что вы...

Он остановился.

— Что же вы не кончаете? — спросила она.

— Изломались вы ужасно, — мягко заметил он.

— То есть, как это?

— Да так: капризничаете, привередничаете, напускаете на себя то искусственную развязность, то неестественную хандру.

— Так вы думаете, что это все напускное? — воскликнула она, с детским ужасом всплеснув руками.

— Да! Без умысла напускаете, а все же... Вот знаете, это с нашим братом бывает: подкутишь немного, а кажешься пьяным, и до того это доходит, что не только другие думают, а и сам убеждаешься, что пьян.

Она расхохоталась.

— Вот нашли сравнение!

Он тоже рассмеялся.

— Простите, — какое подвернулось под руку. Я ведь не особенно находчив...

Она задумалась и, как бы про себя, проговорила:

— Так вы меня изломанной считаете... Вот я никак не думала... Мне этого никто никогда не говорил... Напускаю...

Она очнулась и сказала:

— Немудрено, что вы так испугались, увидав, на ком вас хотят женить!

— О! — воскликнул он. — Верьте...

Она взглянула на него ясным, детским взглядом.

— Нет, нет, я шучу! — торопливо сказала она. — Мне было бы больно думать, что вы не можете быть моим другом.

Она порывисто и крепко сжала его руку.

Он как будто впервые был поражен красотой ее лица...

Давно не проводил Егор Александрович времени так, как в этот день. Он был крайне оживлен и безотчетно весел. Это же настроение охватило и Марью Николаевну. Ни на минуту она не впала ни в одну из своих крайностей и была проста, почти наивна.

Под вечер двоюродный брат и двоюродные сестры Егора Александровича заметили, между прочим, что они собираются к нему завтра.

— А меня вы и не приглашаете? — спросила Марья Николаевна.

— Я, Марья Николаевна, живу теперь без матери, по-холостому, — ответил Егор Алек-

сандрович в смущении.

— Так что же? — с удивлением спросила она.

— Вам неудобно, — в еще большем замешательстве сказал он.

— Их же вы принимаете?

— Мы же родные...

— Ну, а я приду в качестве вашего друг а! Или вы все еще сердитесь? Не грех ли быть таким злопамятным!

Она ласково взглянула на него. По ее глазам было видно, что она была вполне убеждена, что он не сердится на нее.

— Нет, полноте, будем друзьями! Вы представить не можете, как я рада, что я нашла такого простого человека, как вы! — проговорила она искренно и просто. — Мне так хорошо с вами, точно со старшим братом.

Он сам не понимал, отчего у него горит лицо. Эта девушка пробуждала в нем теперь неведомые ему чувства. Ему хотелось быть с нею, спорить с нею, журить ее, высказывать ей свои помыслы. Этого он еще не испытывал при встречах с другими женщинами. Он сознавал, что с нею он мог бы быть точно с то-

варищем, другом. Но разве это можно? Что будут говорить люди, если он сдружится с нею, если она будет ходить к нему? Это ей пришло в голову только потому, что она слишком чиста душою, но ведь другие будут подозревать ее бог весть в чем, вид ее с ним. Он осторожно заметил ей:

— Марья Николаевна, мы здесь живем ее одни, берегитесь толков.

— Каких? — с изумлением спросила она. — Отчего же я не могу подружиться с вами с кем-нибудь другим? Вон я его Павликом зову, что ж из этого?

Она указала глазами на Павла Алексеевича.

— Что же тут дурного?

Егор Александрович смутился и не мог ничего ответить. Она действительно не только звала Павла Алексеевича Павликом, но брала его шутливо за подбородок, трепала по розовым щекам, со смехом замечая: «Смотрите, какая милая мордочка!» И ни Павлику, ни его сестрам, ни Алексею Ивановичу, ни Антониде Павловне это не казалось неприличным. Это вызывало только общий смех. Мало того, Пав-

лик ни разу не вообразил, что Марья Николаевна его любит, что он может ухаживать за ней. И в то же время что-то непонятное для самого Егора Александровича подсказывало ему, что между ним и Марьей Николаевной эти отношения невозможны. Почему же? Ведь для него было бы истинным счастьем найти здесь друга, настоящего друга, способного понимать его надежды и опасения, спасти его от тоски и пустоты одиночества.

— Что же, вы все еще колеблетесь? — допрашивала она. — Что скажут? А вам будет тепло или холодно от этого? И кто скажет? Мои тетушки? Мой жених? Графы Слытковы?

Она засмеялась и шаловливо спросила, ласково и добродушно заглядывая в его лицо:

— Прийти?

— Милости просим, — ответил ой, невольно улыбаясь ей, как милому, избалованному ребенку.

Над крутым обрывистым берегом не широкой, но быстрой и местами очень глубокой речки Желтухи возвышался небольшой одноэтажный деревянный дом, с садиком и двумя просторными надворными пристройками. В одной из пристроек были кухня и помещение для прислуги, в другой — конюшня и хлев. Желтуха делала в этом месте крутой поворот, и домик, казалось, висел над нею со своим садом и пристройками. Сад доходил до самого обрыва. Здесь, не дожидая окончания разных формальностей по продаже имения, поселился Егор Александрович — поселился без матери, уехавшей гостить в имение «дяди Жака» после целого ряда мелодраматических сцен, истерик, слез. Он удержал при себе только Полю и несколько слуг — старика Прокофья, кучера Дорофея, скотницу Анну, повара Матвея. С переселением в новый дом для Мухортова настали дни отдыха после целого ряда хлопот, неприятностей, тревог. Смотря на него, можно было сказать, что этот человек пережил тяжкую болезнь, но и только. Он

похудел, побледнел, но по-прежнему смотрел спокойно, сдержанно и холодно. Холодное и сдержанное выражение лица часто вырабатывается у родовитых бар и выскочек-дельцов. У первых его вырабатывают для того, чтобы они казались выше всяких мелочных дрызг, вторые вырабатывают его для того, чтобы скрыть под неподвижною маскою все гнусные мелочи своей души. У первых оно является следствием дрессировки со стороны матерей и отцов, гувернеров и гувернанток; у вторых — следствием долголетних житейских трепок. Но и у тех, и у других за этою маскою равнодушия и холодности скрывается иногда целый ад мучительных страданий и невыносимых сомнений — ад, в который порою не удастся заглянуть ни одному непосвященному взгляду посторонних людей. Именно таким недоступным для посторонних уголком был душевный мирок Егора Александровича. Вводить туда первого встречного — на это Мухортов был неспособен ни по характеру, ни по воспитанию; а те, кого он, может быть, впустил бы туда, вовсе не поняли бы его. Вся семья дяди Алексея Ивановича, пол-

ная родственных чувств к Егору Александровичу, жила чисто животного, утробного жизнью: они были сыты, обуты и одеты и потому счастливы; они видели, что Егораша выпутался из беды и сохранил кое-какой достаток, и потому считали его тоже вполне счастливым. Разные упреки совести, самобичевания, тяжелые сомнения и тоскливое сознание своего нравственного одиночества, все это, если бы семья Алексея Ивановича и узнала об этом, заставило бы всех ее членов широко открыть глаза и наивно спросить;

— Да чего же теперь тебе недостает, Егораша?

Поля... Ее всеми силами души желал Егор Александрович подготовить к тому, чтобы она могла хотя отчасти делить с ним его радости и горести, его надежды и сомнения, но покуда она жила чисто растительною жизнью. Это был прелестный, роскошно распустившийся махровый цветок, но и только. Цветами можно украшать свое помещение, можно любоваться ими, но уж, конечно, нельзя делиться с ними своими думами, сомнениями и надеждами.

Перебравшись в новое помещение, Егор Александрович прежде всего решил в свободные часы мало-помалу приучать Полю к чтению. Он страстно желал выработать из нее подругу своей жизни, сознавая, как тяжело иметь около себя только наложницу. За чтением он проводил с нею летние вечера, сидя в беседке, находившейся в саду над самым обрывом...

Был один из таких вечеров, тихих и ясных, с медленно наступающими сумерками. Егор Александрович и Поля сидели в беседке. Он читал вслух «Преступление и наказание». Сам он уже не раз перечитал это произведение, но тем не менее он ощущал и теперь тоже волнение при чтении его, какое ощущал, впервые читая этот роман. Он читал страстно, увлекаясь, с разгоревшимися щеками, весь поглощенный болезненным, но тем не менее великим произведением. Поля не спускала своих больших глаз с чтеца, и по ее миловидному лицу с полуоткрытым розовым ротиком блуждала блаженная улыбка. Ни страшная сцена убийства, ни рассказ Мармеладова не спугнули, не изменили этой бла-

женной улыбки. Мухортов раза два, перевертывая страницы, бессознательно подметил это выражение лица своей слушательницы, и оно, совершенно помимо его воли, безотчетно стало его смущать, охлаждать его увлечение. Так нередко бывает с чтецами, не уловившими ухом, а только заметившими взглядом, что где-то шепчутся во время их чтения; этот неслышный, только угаданный шепот развлекает внимание, расхолаживает, конфузит; при нем словно стыдишься своего увлечения, умеряешь пафос, стараешься вслушаться в неслышимые речи. Наконец, Мухортов спросил ее:

— Ты, Поля, понимаешь, что я читаю?

— Читайте, читайте, голубчик, — ответила она, как бы сквозь сон, улыбаясь еще блаженнее.

— Тебе нравится?

— Да... Как, право, вы читаете, точно поют где-то! — восторженно сказала она. — В саду вот так весною: выйдешь, а кругом тебя все поет — где, и сама не знаешь... Я вот все сижу и все думаю, какой вы красавец... Все лицо опять зарумянилось... так и пышет огнем... А

я уж, по правде сказать, боялась, ах, как боялась, что вы бледнете за последние дни стали... думала все, не болезнь ли какая... ведь тоже не долго... Совсем запугалась!..

Он вздохнул.

— Ты все обо мне!

— О ком же мне думать, милый мой, ненаглядный!..

Она поднялась и обвила его шею руками, смотря в его глаза страстными и в то же время добрыми, ласковыми, глупыми глазами.

— Любите? Да?

— Зачем ты это спрашиваешь?

— Все боюсь еще, что разлюбите! Кажется, каждый день, каждый час, каждую минуточку хотела бы слышать, что не разлюбили, что не разлюбите!..

Она начала его целовать. Он закрыл книгу.

— Темнеет, пора кончить чтение... Распорядись, голубка, чаем...

Она еще раз поцеловала его и побежала распоряжаться чаем. Он встал, облокотился на перила беседки, стал рассеянно смотреть на воду и забылся.

— Один, один, вечно один! — проносилось

в его голове, помимо его воли.

И в то же время точно кто-то посторонний задавал ему вопросы:

— А она, Поля? Разве она не с тобою? Разве она не любит тебя? И еще как любит!

В его воспоминании, неизвестно почему, воскресла одна недавняя сценка. Он вошел в комнату. У щифоньерки стояла Поля и укладывала его чистое белье. Когда он входил в комнату, молодая девушка поднесла к губам его носки и поцеловала их. Он так сконфузился, смутился, что не мог даже сказать ей: «Что за глупости ты делаешь!» и сделал вид, что не заметил. Ему было стыдно за нее. Тут было все — любовь, страсть, обожание, безумие. Все существо молодой девушки было поглощено им. Ей нужно было быть с ним в сутки двадцать четыре часа и еще несколько минут. Она отдала ему все и хотела бы отдать ему еще жизнь. Ему недоставало в ней только понимания того, чем он жил, что он думал, о чем он желал говорить. Только! Когда он просиживал часы над любимыми книгами, она не ревновала его к ним, потому что они не мешали ей любоваться им, но она в душе

ненавидела их, потому что ей казалось, что он утомляет себя за ними, бледнеет и худеет, занимаясь ими так долго. Но, боясь этого, она, верно, очень бы изумилась, что его может утомить этот вечный восторг им. Он же сознавал это, и что-то вроде раздражения пробуждалось в его душе, когда, вместо разговоров, вместо тихой беседы, сыпались только поцелуи и ласки. Он старался подавить в себе это раздражение и утешался тем, что этот слишком долгий медовый месяц любви должен будет наконец кончиться, и настанет более трезвый период взаимной приязни; но что же будет тогда?..

Что, если она вечно останется такою?

Вечное одиночество в своем доме, в семье?

Он как-то тупо, бессознательно загляделся на воду, быстро протекавшую под обрывом. Уже совершенно стемнело, и речонка казалась совершенно черной. Делая крутой поворот около обрывистого берега, она как-то зловеще, едва слышно шумела внизу, точно ворча с подавленной злобой. Мухортову вдруг вспомнилось, что, по преданию, во время постройки дома и разбивки сада над обрывом

именно в этом месте свалился вниз и утонул рабочий. Одни говорили, что он сам бросился в воду, другие толковали, что он был под хмельком и упал случайно. Но, так или иначе, все говорили, что это плохое предзнаменование и пророчили, что речонка когда-нибудь в половодье окончательно подмоет песчаный берег, и беседка с частью сада обрушатся в воду. Нечего ждать добра от дома, когда и постройка-то его началась с самоубийства! Недаром же в нем и не заживался никто подолгу: год поживут, — глядишь, или помрет кто, или по какой-либо другой несчастной случайности удалится в другое место, и опять стоит дом с заколоченными окнами. И мысли Мухортова вдруг перескочили к его собственному положению. Легче ли будет ему протянуть так всю жизнь здесь, где нет ни одной родной души, чутко могущей откликнуться на призывы его души, чем разом броситься в эти темные волны? Что значит эта минутная страшная смерть перед целым рядом скучных дней чисто животной жизни? Жить для других, для общества, — но разве он, связанный теперь неизбежными заботами о беспомощ-

ной девушке, о будущем ребенке, может быть, о многих и многих детях, может жить для пользы общества? Его песня спета, его тянет кто-то вниз, в тину — из тех высших сфер, куда еще так недавно рвался он. Он вздрогнул и очнулся как бы от страшного кошмара. С чего это ему пришла мысль о самоубийстве? Видно, все последние события не прошли даром для нервной системы! В нормальном состоянии о самоубийстве не думают. Он вспомнил внезапно слова бездомного, бессемейного, вечно нуждавшегося, но стоически твердого старика Жерома Гуро.

— Самоубийство, — с обычной витиеватостью объяснял как-то Гуро своему воспитаннику после чтения Вертера, — это или сумасшествие, или жалкая трусость мелочного эгоизма. Великие люди, жившие в самые страшные, в самые мрачные эпохи падения и разложения человеческих обществ, конечно, страдали много, страдали страшно; но они не налагали на себя рук, а стремились бороться с обществом, с его пороками, проповедовали великие истины, идеи правды и любви, шли за эти идеи на гильотины, на костры, на висе-

лицы с твердой верой, что их мучения принесут в будущем пользу, тогда как самоубийство никогда и никому не приносило пользы, если оно не было совершено за человечество, как великая жертва, принесенная Лукрецией, покончившей с собою, чтобы возбудить к мщению сограждан. Самоубийство, если оно не сумасшествие и не пожертвование собою для родины, — это сознание, что человек бессилен, что он ничего не может сделать ни для себя, ни для ближних, а такое сознание всегда признак трусости: кто смел, тот идет на борьбу, а не бежит с поля битвы укрыться от врага в убежище смерти. Из-за чего люди посягают на свою жизнь: из-за личных несчастий, из-за личных неудач, по большей части, из-за пустяков, уподобляясь тем капризным и настойчивым детям, которые, когда не исполняются их мелкие капризы, бьются головами об пол, доходят до судорог, стремясь настоять на своем. Дети — бессмысленные эгоисты, самоубийцы — почти всегда тоже такие узкие и тупые эгоисты. Кто любит искренно ближних, тот никогда не убьет себя, зная, что он им нужен, что он может им помочь, только

оставаясь в живых, что решиться на самоубийство, значит, решиться на дезертирство во время решительного боя...

Все эти мысли Гуро живо вспомнились теперь Мухортову, и какой-то внутренний голос говорил ему:

— Ищи дела, сложного, поглощающего всю душу, И тебе никогда не придут в голову мысли о самоубийстве, как бы ни была печальна твоя частная жизнь. Ведь не приходили же эти мысли тебе в голову в те недавно прошедшие дни, когда ты энергично и деятельно устраивал свои дела, как того требовала твоя честь, а между тем это было нелегко.

И перед Мухортовым пронесли картины недавнего прошлого: весть о разорении, поразившая его, как громом; возбуждивший в его душе омерзение проект его женитьбы по расчету; разрыв с матерью, ради его желания честно расквитаться с долгами и загладить свой проступок относительно Поли, продажа имения Протасову на глазах соседей, смотревших на него, Мухортова, как на жалкого разоренного человека; тяжелые, раздражающие сцены истерик и обмороков матери, когда он

решился поселиться на новом месте с Полей, — все это нелегко было пережить, — пережить не в долгие годы, а в несколько недель, в несколько дней; но пережил же он. Нужно только верить в свои силы; не следует отступать, надо работать...

Но где же эта спасающая от всяких сомнений, поглощающая всю душу работа?..

Шестая глава

I

Мародерство во всех его видах неизбежно сопутствует всяким общественным бедствиям вроде войны, мора, пожара и тому подобного. Грабители среди смятения и шума пользуются удобным случаем для захвата чужой собственности. В частной жизни есть тоже мародеры, старающиеся урвать себе какой-нибудь кусок при дележе имущества после покойника, при продаже с молотка чужой собственности. Из породы таких мародеров была Агафья Прохоровна. Смерть чужих матерей, теток, жен и сестер всегда пробуждала в ней желание урвать тайно или явно клочок наследства, и она постоянно выходила с добычей из дома, где был покойник, — с добычей на помин души или на память. Эта жажда мародерства должна была пробудиться в ней в еще большей степени, когда старая дева узнала, что в Мухортове все поступит в продажу и что Софья Петровна навсегда уедет из своих

палат. Ее охватило какое-то бешенство грабежа. Как ворон над падалью, носилась Агафья Прохоровна над открытыми чемоданами и баулами генеральши и разгоравшимися глазами следила за каждой укладываемой в них вещью. Она садилась на корточки около этих чемоданов, считала каждую вещь, дрожала при виде новых и новых сокровищ. Никогда она не была так униженно льстива, как теперь, с генеральшей, с Еленой Никитишной и даже с Глашкой-горничной; никогда она не ненавидела их так страстно, как теперь.

«Пять дюжин шелковых чулок! Семь манто! Кружев — десять человек обмотать можно! И куда это все теперь Софье Петровне!» — восклицала она мысленно, точно Мухортова должна была завтра же умереть, и всеми доступными ей способами подговаривалась ко всему, что можно было присвоить.

Ее глаза горели, как уголья, от зависти и злобы, а запыхавшийся от волнения голос был так певуч, точно она старалась убаюкать своих слушательниц, чтобы их ограбить во время сна. Она обыкновенно ругала наследников покойников, после которых ей давали

старые тряпки, — ругала за скаредность. Теперь она чувствовала, что она будет ругать Софью Петровну, так как все, что ей давали, казалось ей недостаточным. Никогда она еще не чувствовала такой потребности вылить ушаты грязи на Мухортову, как в эти минуты, когда все доставшееся ей являлась в ее глазах таким ничтожным в сравнении с оставшимся у генеральши. Но эта злоба дошла до бешенства, когда Елена Никитишна в одно прекрасное утро не досчиталась кружевных воротничка и манжет.

— Агафья Прохоровна, это ты взяла? — грубо спросила мухортовская домоправительница у старой девы.

— Что-о? Я? Я взяла чужие вещи? — воскликнула Агафья Прохоровна в волнении, и на ее щеках выступили красные пятна.

— Ну, ну, подавай! Кроме тебя взять никому! Не тебе только носить брюссельские кружева! Нашла тоже, что скрасть.

— Скрасть? Да как ты смеешь? Как ты смеешь обижать благородную особу? — визгливо закричала приживалка.

Они сразу перешли на грубое «ты», грыз-

лись без всяких стеснений.

— Говорят тебе, сейчас подай! Не то во всех платьях карманы обыщу, — прикрикнула Елена Никитишна, топнув ногой.

— У меня? Карманы обыскивать? У меня?

— А вот увидишь у кого!

— Руки еще коротки.

— Я тебе покажу, коротки они или нет!

— Попробуй! попробуй!

— И попробую!

Елена Никитишна быстро направилась к странноприимному покою. Агафья Прохорова бросилась вперед туда же и точно обезумела. Она захватила со стола скатерть, быстро начала срывать с вешалок платяного шкапа свои вещи и, сваливая их в кучу, стала связывать узел, комкая все свои пожитки.

— Духу моего после такой пакости здесь не будет! Минуты я здесь не останусь! — кричала она вбежавшей за нею в комнату Елене Никитишне.

— Да ты обезумела, что ли? В нашу скатерть свое тряпье увязываешь! — в свою очередь, крикнула мухортовская домоправительница, хватаясь за скатерть.

Началась положительная борьба- Манжеты и воротничок из брюссельских кружев были забыты. Бой шел из-за скатерти. Обе женщины вдруг позабыли свои роли, — одна свое благородство, другая свой ранг старшей из слуг, — и ругались, как последние базарные торговки, дергая в разные стороны узел.казалось, они были готовы разодрать все, чтобы только не уступить.

— Не съем вашу скатерть! Только вещи до-несу и пришлю. Подавитесь ею! Грабители!

— Ты грабительница, а не мы! Мы трудом кормимся! Это ты бродяга бездомная!

— Хамы поганые!

— Сама хамка! погоди еще! Так не уйдешь! На дороге догола разденут да обыщут.

— Посмейте!

— А вот увидишь!

Елена Никитишиа, вся покрытая потом, выбившаяся из сил, бросилась докладывать Софье Петровне, что «Агашка» их обворовала. У Мухортовой была мигрень, и она только замахала в отчаянии руками.

— Пусть грабят, пусть! — застонала она. — Мне ничего не надо! Ради бога, избавьте меня

от новых скандалов!

В это время Агафья Прохоровна уже набросила на плечи бурнус, надела второпях набок шляпу с красными маками и неслась через двор из дома.

— Погодите, погодите, голубчики, я вас расславлю! — кричала она в бешенстве. — На весь уезд, на всю губернию!..

И расславила. Это было тем более удобно, что судьбою Мухортовых интересовались все.

Егор Александрович на некоторое время неизбежно должен был сделаться героем дня в своем муравейнике. Весть о разорении Мухортовых, о продаже их имения, о продаже их наследственной движимости, серебра, картин, мебели — все это привлекло внимание всех окрестных помещиков к Мухортову, и, хотя Мухортов старался обделать дело с глазу на глаз с Протасовым, покупавшим все, что продавалось, тем не менее нашлось немалое число любопытных, желавших взглянуть на молодого человека, поговорить с ним, чтобы потом рассказывать, как он поражен разорением, как он перенес этот удар. Все были несколько разочарованы, встретив в «бедном

молодом человеке» какое-то необъяснимое для всех спокойствие и равнодушие. Сперва стали говорить, что он ловко притворяется, потом пришли к убеждению, что он поступил, как герой. С своей, точки зрения эти люди, может быть, и были правы. Действительно, для них казалось героизмом стремление распутаться разом с долгами ценой пожертвования родовым именем; они на месте Мухортова, наверное, попробовали бы изворачиваться до последней степени, влезать в новые неоплатные долги, лишь бы не ликвидировать своих дел на глазах у всех. Разорены, в сущности, была чуть ли не все в уезде и даже в губернии, за исключением Алексея Ивановича и Протасова; большинство не видело впереди никакой возможности выкупить свои имения, особенно ввиду падения нашего рубля, и с трудом выплачивало даже проценты, но все изворачивались до последней возможности, шли на всякие сделки и с своею совестью, и с совестью ближних. Увидав же, что за Мухортовым, согласно предварительному условию с Протасовым, уцелел небольшой участок земли с домом, узнав, что, кроме того,

у Мухортова осталась не одна тысяча наличных денег от продажи движимости и недвижимости, молодого человека начали звать сумасбродом, несмотря на все протесты Алексея Ивановича, доказывавшего всем и каждому, что его племянник поступил крайне практично, что он теперь «чист от долгов, как стеклышко», что, не разрубив разом гордиева узла долгов, он только запутался бы в новых займах под бременем непосильных процентов. Упорное заступничество Алексея Ивановича за племянника навело многих прямо на мысль, что Алексей Иванович просто опутал племянника, отмел его заодно с Протасовым. Сплетня найдет везде пищу. Сначала все были убеждены, что Мухортов, распродав все и публично явившись разоренным человеком, тотчас же уедет из имения, чтобы скрыться от «позора». Но Мухортов спокойно остался жить в имении и имел такой вид, как будто с ним не случилось никакого несчастья. Это сделало его интересным, особенно в глазах барынь, желавших посмотреть на него, как я чудо.

Однако, к величайшей досаде любопыт-

ных, молодого Мухортова было нелегко встретить в так называемом порядочном обществе. Он с первых же дней переселения в охотничий домик повел странную жизнь. Он стал ежедневно совершать отдаленные прогулки, посещая то ту, то другую деревню; где- было возможно, он подолгу беседовал с мужиками, присматривался к их жизни, вникал в их быт, изучал все, что поддавалось изучению. Перед ним была открыта новая книга — книга народной жизни, и он жадно стремился заглянуть хоть в некоторые ее страницы, сознавая не без горечи, что именно в этой области у него является громадный пробел знаний. Это стремление не ускользнуло от наблюдательных глаз ближних, и в какую-нибудь неделю или две создалось толков о Мухортове чуть не на год. Одни утверждали, что Мухортова видели у опушки леса сидящим в кругу оборванных бродячих нищих; другие рассказывали, что он посетил в одной деревне кабак с партией фабричных рабочих; третьи говорили, что к нему ходят толковать и спорить местные сектанты, проповедующие равенство людей во всех отношениях и даже в имущем.

ственном. Преувеличения росли не по дням, а по часам, принимая иногда чудовищные размеры. До простой мысли о том, что человек хочет поближе узнать свой родной народ, не доходил никто. Но каковы бы ни были эти нелепые или комические рассказы, они все оканчивались одним зловещим припевом:

— Это недаром! Теперь такие времена!

Все как будто ждали, что вот-вот молодой человек произведет нечто страшное, нечто такое, за что не похвалят. Связь с Полей, сплетни Агафьи Прохоровны, рассказы недвольного барином Прокофья о житье-бытье в охотничьем домике — все это только подливало масло в огонь. Толкуя о связи Мухортова с Полей, Агафья Прохоравиа говорила:

— Он всем благородным девицам афронт нанес. Где бы с хорошими людьми, где барышни заневестились, сойтись, а он с хамкою в амуры вошел. Повенчаться хочет. Говорят, теперь и в облачении мужицком ходить стал, а туда же, дворянином считается! Тоже слышали мы, что таким-то долго на воле ходить не позволяют. Родная мать и та хотела дворянскому предводителю жаловаться! Так

ведь он чуть не убил ее. Ну, известно, женщина слабая, от греха и уехала. Как есть разбойник на большой дороге!.. В церковь, в храм божий, никогда не заглянет!.. И как это Алексей Иванович к нему своего Павлика пускает? А впрочем, тот-то тоже хорош; из седьмого класса гимназии за бунт выгнали...

Прокофий тоже негодовал на молодого барина со своей точки зрения.

— Ни к нему никто из господ не ездит, ни сам ни к кому не заглянет, — говорил он. — Прежде как-никак, а все же, бывало, господа заедут, на чай перепадет... А теперь, коли и придет кто, так мужик. С собой сажает, чаем поит... У нас при барыне в передней мужик, бывало, постоит, так курить амбре велют!.. Тоже выдумал моду: дрова сам колет, гряды копает. Сказал я ему, что не господское это дело, так меня же вышутил: «Глупый ты, говорит, это я для здоровья, силы набраться хочу...» А на что ему силы? В кулачный бой, что ли, идти?.. Ел бы лучше, как господа, а то у нас Матюшка, повар-то наш, говорит: «Этак я забуду, как и готовятся господские кушанья...» Почитай, то же ест, что и мы, грешные... В папень-

ку, верно, пошел: тот тоже все щи да кашу ел... Так тот это по солдатскому положению, на войне привык...

В гостиных про Мухортова говорилось еще больше глупостей и нелепостей. Даже сам Кокко Томилов, избегавший прежде всяких разговоров о Мухортове, так как говорить о нем хорошо он не мог, а говорить дурно о бывшем своем сопернике считал недостойным джентльмена, не мог не принять теперь участия в этих толках.

— Что с ним? — говорил он у Ададуриковых, пожимая плечами. — Он ходит бог знает в каком наряде: в высоких сапогах, в блузе, подпоясанной ремнем. Можно за мастерового принять.

— В нигилисты пошел! — не без едкости заметила старшая из Ададуриковых.

— Что? В нигилисты пошел? — переспросила глухая Ададурикова. — Он и всегда был нигилистом! Я сейчас, как увидела его, сказала: нигилист! Над спиритизмом глумился, про отца Николая заговорила — гримасу сделал!

Средняя сестра Ададурикова всегда всего пугалась.

— Ах, уж не прокламации ли он разбрасывает? — воскликнула она с ужасом, обводя всех оторопевшими глазами. — Чего же смотрят?

Томилов презрительно заметил:

— Я не знаю, нигилист он или нет, но я знаю, что он невежа: мы были представлены друг другу, а он не считает нужным отведать на поклоны...

— Современное воспитание! — ядовито вставила старшая из Ададуриных.

— Что? Современное воспитание? — переспросила глухая сестра. — Глупости! Кто это его воспитывал? Отец? Казармой от него пахло! Мать? О ее молодости лучше не говорить, а теперь Зола на столе открыто держит! Правда, был при нем гувернер. Так кто же не понимает, что это за человек был: беглый революционер, скрывавшийся от гильотины!

— Ах, та sœur [6], молчите, молчите! — испугалась средняя сестра. — Разве теперь такие времена, чтобы упоминать о революции и гильотине!

И затем, обращаясь к Томилову, она молящим тоном прибавила:

— Ради бога, старайтесь не встречаться с ним, делайте вид при встрече с ним, что не замечаете его, а то и вы можете пострадать, и мы все...

Она даже вздрогнула при этой мысли.

— Мне рассказывали в Москве, что вот один такой ходил к разным лицам в гости, со многими говорил, с иными только кланялся, а потом вдруг попался и всех за ним привлекли. Потом стали исследовать, с кем и эти люди знакомы, и тех тоже привлекли...

Она широко открыла глаза, сама пораженная нарисованной ею колоссальной картиной привлечений, и перевела дух

— Потом пять лет так-то всех привлекали! Вот какие это люди!

— За Марью Николаевну нужно опасаться, — осторожно заметил Томилов.

— Разве Марью Николаевну можно удерживать от чего-нибудь, когда ее отец сам дал ей волю! — желчно воскликнула старшая Ададурова.

— Что? Волю дали? Кому опять дали волю? — переспросила, встревожившись, глухая сестра.

— Мари! — ответила старшая.

— А! Мари! Замуж надо выдать, вот и не будет воли!

— Ах, я готова хоть сейчас уехать в Москву, чтобы подальше от него! — пугливо сказала средняя сестра. — И Мари там будет в безопасности!..

Даже сам Алексей Иванович, отмахивавшийся руками, когда заговаривали о «политике», то есть о чем бы то ни было, не касавшемся прямо его личного хозяйства, — даже он заметил как-то племяннику;

— Егорушка, ты остерегайся!

— Чего, дядя?

Алексей Иванович развел руками.

— Так, остерегайся!.. Черт его знает чего, а все же береженого и бог бережет... Вот о тебе все говорят.

— Что говорят?

— Да я-то почему знаю! А говорят!.. Нынче такие времена, что опасно, если про человека говорят... И что тебе за сласть, если говорить будут?..

— Да ведь не могу же я запретить.

— Так-то так, а все же.

Старик махнул рукой.

— Прохвосты нынче люди!

II

До Марьи Николаевны доходила тоже значительная часть этих бесконечных толков.

Она невольно задумывалась о Мухортове. Что это за странный человек: он не сделал ни одного шага, чтоб поискать ее руки для поправления своих дел; он хладнокровно потерял большую часть своего имения; он оставался веселым, когда все смотрели на него, как на несчастного разоренного человека. Иногда в ее душе поднималось против него чуть не враждебное чувство, точно он лично ей нанес глубокое оскорбление, не посватавшись за нее. Порою она вдруг горячо вступалась за него в обществе и говорила, что это единственный честный человек, встреченный ею в жизни. То ей становилось до слез досадно на то, что она думает о нем, то ей страстно хотелось увидеть его, сдружиться с ним, заглянуть в его душу. Эта двойственность душевного настроения выводила ее из

себя, и она вымещала свое раздражение на своем женихе. Он решительно не знал, как угодить ей, как попасть ей в тон. Он, может быть, давно бы изнемог, устал от этой игры в кошки и мышки, если бы она не была такой выгодной невестой. Из-за нее можно было перенести многое. Крупные призы на жизненной арене вообще достаются нелегко. С Мухортовым Марья Николаевна не встречалась давно, и когда ей пришлось снова увидеть его в доме Алексея Ивановича, она совершенно смутилась. Егор Александрович раскланялся с нею и тотчас же стал продолжать прерванный на мгновение ее приходом разговор о будущей охоте с Павлом Алексеевичем. Ее почему-то раздражило это равнодушие, точно она ждала, что Мухортов бросится к ней с распростертыми объятиями или, в крайнем случае, взволнуется, изменится в лице. Но Егор Александрович продолжал громко веселую болтовню со своим юным двоюродным братом, страстным охотником.

— За что это Егор Александрович дуется на меня? — вдруг спросила она у двоюродных сестер Егора Александровича.

— Как дуется? — воскликнули Зина и Люба. — С чего ты взяла?

— Даже не удостоил ни одного слова, — ответила Марья Николаевна. — Впрочем, он теперь, говорят, драпируется своим геройством и равнодушием.

— Что ты выдумала, милочка! А вот мы его сейчас призовем к исповеди, — со смехом сказали барышни и крикнули:

— Егораша!

— Не надо! Не надо! — быстро вскрикнула Протасова, остановив их в смущении.

— Что? — отозвался Мухортов.

— Брось ты свои противные разговоры об охоте. Иди сюда! — кричали кузины.

— Сейчас! — ответил Егор Александрович и отошел к барышням.

— Ну, что вам? — спросил он.

— Вот Маша говорит...

Марья Николаевна раздражилась.

— Вы вечно глупите! — проговорила она. — Нельзя сказать ни слова... Это же не деликатно!.. Пора перестать наивничать!..

— Она говорит, что ты дуешься на нее, — пояснили Зина и Люба, не слушая ее замеча-

ний.

— Я? Дуюсь? — он обернулся к Марье Николаевне и проговорил: — За что же я могу дуться на вас, я не понимаю...

— Ах, это они все глупости говорят, — сказала она сконфуженно и тотчас же с напускной бойкостью прибавила: — Впрочем, вы и не поверите им, зная, как я мало обращаю внимания на то, как кто на меня смотрит. Очень мне это нужно!

— Вы вполне правы, я это знаю, — коротко согласился он.

— И потом говорит, что ты рисуешься своими подвигами. Это ты-то! — не унимались молоденькие кузины.

— Подвигами? Какими? — спросил не без удивления Егор Александрович и вопросительно, пристально взглянул на Марию Николаевну, ожидая ответа.

Она побледнела, как полотно; на ее глаза навернулись слезы от досады. Ей стоило немало труда, чтобы удержаться от крупной ссоры с барышнями Мухортовыми. Она не отвечала ни слова. Ему стало жаль ее, но тем не менее он заметил ей с упреком, хотя

мягко и ласково:

— Зачем вы повторяете чужие толки, со-знавая всю их пошлость?

Марья Николаевна подняла на него пол-ные слез глаза, как провинившаяся девочка.

— Не сердитесь на меня, — сказала она за-душевно и протянула ему руку. — Я сама не понимаю иногда, что со мной делается... И за-чем они это вам сказали? Поссорить хотят с человеком, который...

Она остановилась, точно поперхнувшись. Кузины Егора Александровича бросились ее целовать.

— Милочка, не сердитесь! Это ведь шутка! Разве Егораша рассердился? Да он и не умеет сердиться!

Егор Александрович спокойно заметил:

— Я не имею права сердиться на Марью Николаевну.

И, обращаясь к Протасовой, он добавил:

— Мне просто стало больно, что именно вы повторяете эти толки обо мне.

Он поспешил переменить разговор, и че-рез две-три минуты неприятная сцена забы-лась. К Мухортовым приехал кто-то из сосе-

дей, и Егор Александрович совершенно неожиданно остался с глазу на глаз с Протасовой. Она предложила ему пройтись по саду, видимо обрадованная возможностью поговорить с ним без свидетелей.

— Вы не сердитесь на меня? — спросила она его, идя с ним по тенистой аллее.

— Я? Что вам пришло в голову, Марья Николаевна? Нисколько, — ответил он.

— Мне казалось, что так... или, если не сердитесь, то избегаете меня, — закончила она нерешительно.

— В последнем случае вы, может быть, и правы, — сказал он. — Но в этом ни я, ни вы не виноваты. Если уж пошло на откровенность, то надо договаривать все. Нас с вами поставили в крайне неловкое и нелепое положение.

— Ну, вот глупости! Я знаю, о чем вы говорите!

— Верьте мне, что я не имел на вас никаких видов. Я понимал всю гнусность этих планов, составившихся без моего и без вашего ведома. Правда, была минута, когда я почти согласился. Но...

— Что?

— При встрече с вами я сам устыдился за себя. И знаете, почему?

Он улыбнулся.

— С одной стороны, мне показалось, что я не сумею лгать именно перед вами, с другой — я был убежден, что вы мне прямо в глаза скажете, что я лгу, и скажете это так, как не говорят в так называемом «обществе» — сгубите...

Она молчала и о чем-то задумалась. Он продолжал тем же спокойным и веселым тоном:

— Впрочем, мне и не удалось бы посвятаться за вас, если бы даже и вздумал, так как вы сами тотчас же отказались от меня, узнав о моих планах.

— Да, мне стало так больно, больно, когда я узнала, что даже вы ищите моей руки, не любя меня, — горячо проговорила она.

Она взглянула на него полным нежности взглядом.

— Вы единственный человек, с которым мне так хорошо, — просто проговорила она. — Это странно, но мне кажется, что мы

были друзьями с детства, точно вы мой старший брат. И вдруг вы бы стали свататься за меня!.. Это било бы низко!.. Нет, нет, я так тогда рассердилась, точно это разрушало мои лучшие верования...

— Увлекающийся вы человек! — улыбнулся Егор Александрович. — Ваши верования в меня составились по двум свиданиям.

— Нет, — ответила она, — даже не по двум свиданиям, а просто как-то по чутью. В обе наши первые встречи мы даже не поговорили толком... Впрочем, о вас мне много говорили до вашего приезда...

— И, конечно, все только хорошее, — прибавил Егор Александрович. — Ведь меня прочили в женихи, и вас нужно было подкупить...

— Нет, я знаю, что о вас говорили правду!

— Обо мне, говоря правду, можно было сказать одно: это добрый человек, потому что ему не с чего быть злым; это честный человек, потому что ему нет нужды быть бесчестным. Это еще не великие заслуги, Марья Николаевна. Ими отличается, или, вернее, сказать, может отличаться большинство силь-

ных мира. Злоба и бесчестность в богатых и сильных — это аномалия, уродство. Правда, эта аномалия встречается часто, но все-таки аномалия... Я ею не страдал, я не был ни злым, ни бесчестным. А вот теперь, когда я стою на пороге к делу, к добыванию хлеба, я сам в своих глазах оказываюсь вполне несостоятельным.

Он заговорил о том, что его теперь тревожило и волновало. Читая и учась много, он менее всего готовился быть сельским хозяином. Присматриваясь теперь к хозяйству дяди и окрестных крупных землевладельцев, он начал приходить к заключению, что он никогда не будет вообще хозяином. Тут нужно быть кулаком, эксплуататором отчасти, чтобы подешевле добыть рабочих, чтобы заставить их работать неустанно, чтобы держать их в страхе. Тогда получатся и барыши.

— Может быть, даже и в настоящее переходное время есть другой путь для того, чтобы не обижать ни других, ни себя, — прибавил он, — но этого пути я еще не вижу совсем; знаний у меня, может быть, для этого нет. Идти же общим путем, то есть знать, что каж-

дый лишний грош нужно выжимать из ближних, что благосостояние надо сколачивать из чужих пота и крови, для этого — не скажу, что я для этого слишком мягок, добр и честен, нет, — белоручка я слишком для этого покуда...

— Для чего вы стараетесь умалить свои достоинства? — спросила она.

— Да еще сам я не вижу их, — просто ответил он. — Вон, в первую минуту разорения согласился же жениться по расчету и отказался от этой подлости вовсе не по личной добродетели. Я же это отлично сознаю и вовсе не желаю скрывать от себя. Играть в прятки и в жмурки с самим собою — это значит самому тащить себя в омут падения... Потом в моей жизни была ошибка...

Он вдруг оборвал речь и потом закончил:

— В душе каждого из нас, право, столько природной, наследственной или усвоенной дрянности, что кичиться своими добродетелями вовсе не приходится. Правда, кодекс нравственности нам всем известен чуть не с пеленок, да толку-то в этом немного. Мы говорим великие фразы и творим мелкие подло-

сти...

— Или ничего не делаем, как я, да и все барышни вообще, — добавила она со вздохом.

— Да, кстати! — сказал он серьезно. — Неужели вам не надоест эта праздность?

— А что же делать?

— Ну, не хотите благотворить, учить крестьянских ребятишек, посещать бедных, как делают разные барышни и барыни, так учитесь. Ведь выйдете же вы когда-нибудь замуж. Подготовьте себя хоть к этому...

— То есть, как?

— Да хоть подготовьтесь к тому, чтобы быть хорошей подругой мужу, а, главное, хорошей матерью. Я почти согласен с вами, что быть благотворительницей, — это значит брать с бедняков рубль и давать другим беднякам грош, что быть работающей женщиной, имея средства, — это значит отбивать хлеб у других. Это почти так.

— Как почти?

— Да ведь есть же отрасли труда, где можно работать, не отбивая хлеба. Вот, женщина-врач, имеющая хороший достаток. Разве она отобьет у кого-нибудь кусок хлеба, леча

бесплатно бедных? Врачей мало, и на всех хватит работы, да к тому же бедняки, идущие лечиться даром, за деньги не пошли бы лечиться. А школы? Разве бесплатная школа отобьет хлеб у учителей? Учителей и учительниц мало, и место всегда им найдется. Вообще, я многое и многое мог бы возразить и против вашего взгляда на благотворительность. Ведь благотворить можно, и не сдирая шкуры с других, а отказывая себе в тех излишествах, которых так много в жизни людей нашего круга... Но если вы с этим не согласны, то должны же вы согласиться, что быть хорошей, разумной матерью лучше, чем быть такою матерью, какие встречаются в нашем кругу сплошь и рядом. Вы сами заметили мне, как тяжело вам было расти без матери. Поверьте, что вам было бы хуже, если бы вы росли, имея дурную мать. Не иметь матери — это горе, иметь дурную мать — это глубокое несчастье. А для этой подготовки нужно немало работать... Не сердитесь, что я даю вам советы, но мне, право, просто обидно за вас, что вы... Он остановился.

— Что же вы не кончаете? — спросила она.

— Изломались вы ужасно, — мягко заметил он.

— То есть, как это?

— Да так: капризничаете, привередничаете, напускаете на себя то искусственную развязность, то неестественную хандру.

— Так вы думаете, что это все напускное? — воскликнула она, с детским ужасом всплеснув руками.

— Да! Без умысла напускаете, а все же... Вот знаете, это с нашим братом бывает: подкутишь немцо-то, а кажешься пьяным, и до того это доходит, что не только другие думают, а и сам убеждаешься, что пьян.

Она расхохоталась.

— Вот нашли сравнение!

Он тоже рассмеялся.

— Простите, — какое подвернулось под руку. Я ведь не особенно находчив...

Она задумалась и, как бы про себя, проговорила:

— Так вы меня изломанной считаете... Вот я никак не думала... Мне этого никто никогда не говорил... Напускаю...

Она очнулась и сказала:

— Немудрено, что вы так испугались, увидав, на ком вас хотят женить!

— О! — воскликнул он. — Верьте...

Она взглянула на него ясным, детским взглядом.

— Нет, нет, я шучу! — торопливо сказала она. — Мне было бы больно думать, что вы не можете быть моим другом.

Она порывисто и крепко сжала его руку.

Он как будто впервые был поражен красотой ее лица...

Давно не проводил Егор Александрович времени так, как в этот день. Он был крайне оживлен и безотчетно весел. Это же настроение охватило и Марью Николаевну. Ни на минуту она не впала ни в одну из своих крайностей и была проста, почти наивна.

Под вечер двоюродный брат и двоюродные сестры Егора Александровича заметили, между прочим, что они собираются к нему завтра.

— А меня вы и не приглашаете? — спросила Марья Николаевна.

— Я, Марья Николаевна, живу теперь без матери, по-холостому, — ответил Егор Александрович в смущении.

— Так что же? — с удивлением спросила она.

— Вам неудобно, — в еще большем замешательстве сказал он.

— Их же вы принимаете?

— Мы же родные...

— Ну, а я приду в качестве вашего друга! Или вы все еще сердитесь? Не грех ли быть таким злопамятным!

Она ласково взглянула на него. По ее глазам было видно, что она была вполне убеждена, что он не сердится на нее.

— Нет, полноте, будем друзьями! Вы представить не можете, как я рада, что я нашла такого простого человека, как вы! — проговорила она искренно и просто. — Мне так хорошо с вами, точно со старшим братом.

Он сам не понимал, отчего у него горит лицо. Эта девушка пробуждала в нем теперь неведомые ему чувства. Ему хотелось быть с нею, спорить с нею, журить ее, высказывать ей свои помыслы. Этого он еще не испытывал при встречах с другими женщинами. Он сознавал, что с нею он мог бы быть точно с товарищем, другом. Но разве это можно? Что бу-

дут говорить люди, если он сдружится с нею, если она будет ходить к нему? Это ей пришло в голову только потому, что она слишком чиста душою, но ведь другие будут подозревать ее бог весть в чем, видя ее с ним. Он осторожно заметил ей:

— Марья Николаевна, мы здесь живем ее одни, берегитесь толков.

— Каких? — с изумлением спросила она. — Отчего же я не могу подружиться с вами с кем-нибудь другим? Вон я его Павликом зову, что ж из этого?

Она указала глазами на Павла Алексеевича.

— Что же тут дурного?

Егор Александрович смутился и не мог ничего ответить. Она действительно не только звала Павла Алексеевича Павликом, но брала его шутливо за подбородок, трепала по розовым щекам, со смехом замечая: «Смотрите, какая милая мордочка!» И ни Павлику, ни его сестрам, ни Алексею Ивановичу, ни Антониде Павловне это не казалось неприличным. Это вызывало только общий смех. Мало того, Павлик ни разу не вообразил, что Марья Никола-

евна его любит, что он может ухаживать за вей. И в то же время что-то непонятное для самого Егора Александровича подсказывало ему, что между ним и Марьей Николаевной эти отношения невозможны. Почему же? Ведь для него было бы истинным счастьем найти здесь друга, настоящего друга, способного понимать его надежды и опасения, спасти его от тоски и пустоты одиночества.

— Что же, вы все еще колеблетесь? — допрашивала она. — Что скажут? А вам будет тепло или холодно от этого? И кто скажет? Мои тетушки? Мой жених? Графы Слытковы?

Она засмеялась и шаловливо спросила, ласково и добродушно заглядывая в его лицо:

— Прийти?

— Милости просим, — ответил он, невольно улыбаясь ей, как милому, избалованному ребенку.

Седьмая глава

Перебирая бумаги, Егор Александрович случайно открыл одну из старых тетрадей и зачитался. Это был его дневник. Приучая его отдавать отчет в каждом поступке, в каждой мысли, Жером Гуро побудил его когда-то вести дневник.

— Человек — порочное и полное всяких недостатков создание, — говорил своим обычным дидактическим, хотя и мягким тоном старик. — И при этом он всегда склонен к фарисейству, к самообману. Отдавать себе отчет в своих помыслах и поступках, отдавать его письменно, — это крайне полезно в нравственном отношении. Записывая все, что ты думаешь и делаешь, ты, может быть, не раз покраснеешь за себя. Изложить на бумаге все те низкие, пошлые или преступные мысли, которые бродят в голове, это нелегко, это — почти подвиг, вызывающий краску стыда. Но этот стыд полезен. Это исповедь перед собою, и ее значение важнее всего для человека, для его саморазвития, для его самоусовершенствования. Кроме того, если бы хотя извест-

ная часть людей вела подобные дневники без лжи и без утайки, — наука, а значит, и человечество много выиграли бы. Эти дневники пролили бы свет на человеческую душу.

Мальчуган увлекся этою мыслью и стал ежедневно исповедоваться пред самим собою. Долго он записывал в свой дневник все мелочи, все ребяческие проступки, промахи. Потом пребывание в кавалерийском училище, жизнь в полку, светские развлечения заставили его все реже и реже вносить отчеты о себе в эту тетрадь, и, наконец, она забылась совсем. Теперь, случайно найдя ее между другими бумагами, Егор Александрович невольно зачитался ею, задумался над этими листками, начатыми неверным детским почерком и оконченными твердым почерком мужчины. Перелистывая ее, он мог сразу заметить не только то, как окреп его почерк, но и то, как мало-помалу исчезали грамматические ошибки, как от исповеди о невыученном по лености уроке и от признания в том, что он после обеда допил оставшийся в чьей-то рюмке ликер, он перешел к вопросам о Гамлете и Дон-Кихоте после прочтения статьи Тургене-

ва и писал:

«Неужели же теоретики-Гамлеты вечно будут убивать только случайно Полониев, когда им хочется поразить преступного короля? Неужели же деятели-Дон-Кихоты будут всегда сражаться только с ветряными мельницами и со стадами баранов, принимая их за врагов? Неужели вечно плодами и разъедающих сомнений, и неиссякаемой жажды деятельности будут самообман, промахи, осечки?.. Или точно единственный деятель, достигающий цели, это слепая судьба, бессмысленный рок? Кто придет к этому убеждению, тому не для чего жить».

Целые страницы из этого времени посвящаются в дневнике уже не признаниям в лени, в непослушании, в детских шалостях, а мучительным сомнениям, вызываемым тем или другим вопросами.

Особенное внимание Егора Александровича остановила теперь одна страничка, написанная в один из приездов его в деревню, когда ему было лет семнадцать. Он писал:

«Сегодня утром я забрел в наш родной лес, и меня охватило какое-то отрадное чувство

бодрости, здоровья, силы, как будто у меня внезапно расширилась грудь и сделалось глубже дыхание. „Здорово, родной!“ — невольно проговорил я, и на мгновение мне показалось, что он, этот столетний старец, смотрит на меня с улыбкой и шепчет: „Ишь как вырос“. Мне хотелось и петь, и смеяться, и обнять эти деревья, прильнуть к ним губами. Мне было только грустно, что со мной не было теперь Жерома, моего милого незабвенного старца... Вечером, придя домой усталый, я прилег и взял Тургенева. Мне хотелось заглянуть в его „Поездку в Полесье“. Боже мой, какие различные ощущения пробуждают в людях одни и те же явления, одни и те же предметы! Тургенев пишет: „Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо — и при виде его глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и

гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет — вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях, он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданном: здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу“. Нет, никогда, никогда не пробудит во мне подобного чувства природа уже потому, что я сознаю себя ее царем, сознаю себя выше ее. Мне стоит захотеть, и эти болота сделаются плодоносными нивами; мне стоит захотеть, и этот столетний лес падет к моим ногам, подрубленный под корень! Она не принижает моей мысли, она не говорит мне о моем ничтожестве; она, напротив того, напоминает мне о моей силе: великая, бессмертная, она рабыня человека, и он может заставить ее служить ему. Мне кажется, что, смотря только так на природу, мы можем идти вперед, в противном же случае мы обречем себя на вечное нытье, на вечное тунейд-

ство, на вечную покорность законам природы. Законы природы! Разве они не одинаково влияют на людей в известной местности, а между тем, в одних и тех же местностях бок о бок развиваются нищие и богачи, неудачники и счастливцы, и все в их жизни зависит от меньшей или большей степени умелости, способности развиваться, гениальности человека».

Над этими вспышками страстного юношеского стремления — стать выше рока, природы, неведомых сил, невольно задумался теперь Егор Александрович. В нем и теперь жило это стремление, — стремление создать из себя человека-бойца, способного помериться с судьбою. Эта струнка звучала в нем всего сильнее...

Затем дневник вдруг обрывается. Егор Александрович припомнил то время, когда дневник оборвался: это было время, когда его старались превратить в светского человека, в хорошего кавалериста. Он стал припоминать это время, и ему досадно было, что он не вел тогда дневника. Дневник рассказал бы ему день за днем все то, что он видел, пережил,

передумал. Теперь было бы трудно заполнить этот пробел, припомнить все мелочи, влиявшие так или иначе на характер, на склад убеждений, на те или другие поступки. Сколько раз пришлось бы ему покраснеть, читая эти страницы! А споры с друзьями-студентами в последние два года, — споры об общественных вопросах, об общем благе, о политике, о средствах борьбы против разных зол? А страстное искание разрешения тысячи сомнений у разных ирвингианцев, пашковцев, умных или глупых искателей духовной пищи, душевной гармонии? Сколько интересного нашел бы он теперь в отчетах о них! Он невольно пожалел о том, что забросил привычку записывать все происходящее с ним и в нем. У него снова явилось желание продолжать этот прерванный дневник. Но, взяв перо, он задумался. О чем говорить ему теперь, когда жизнь течет так однообразно? Как-то машинально начал он писать:

«3 августа 187... г. Одиночество и скука, вот два слова, преследующие меня теперь везде и всюду. Я чувствую, что я выбит из колеи и не могу еще найти своего пути. Когда-нибудь, ве-

роятно, я найду его. Но когда? Вот вопрос. Быть может тогда, когда будет уже поздно. Теперь я сознаю одно, что здесь мне не ужиться. Я ясно сознаю, что сельским хозяином, да и вообще хозяином, мне не быть. Нет у меня на это способностей, претит мне кулачество. Я, должно быть, из тех, которые едят мясо, но никогда не решатся сами убить быка. Меня тянет в столицу, в университет, к кафедре, в водоворот мыслящей молодежи. Весь вопрос сводится к тому, как устроиться с Полей? Везти ее с собою, со всею ее родней — у меня нет ни средств, ни охоты. Ехать с нею вдвоем? Какую роль будет она играть при мне? Жена? Любовница? Поместиться вместе на отдельной квартире? Переехать вместе в *chambres garnies*? [7] Жить отдельно? Я ничего покуда не могу сообразить. Мы стоим в каком-то ложном положении. Между нами нет ничего общего, кроме ласк. Нужно же в этом сознаться прямо и честно! Она вовсе не заглядывает в мой душевный мир, как я не заглянул бы в книгу, написанную на неведомом мне языке; я тоже стараюсь не заглядывать в ее душевный мир, потому что меня пугает его бездон-

ная пустота. Я никогда не предполагал, чтобы могло быть существо, не мучающееся ни одним сомнением, не имеющее ни одного желания, не интересующееся ни одним вопросом. Всматриваясь в нее, я вижу, что такое существо может быть. Для нее я — все. Но она даже представить не может, что ее бог может утомиться от вечных славословий, что ее священная икона может слинять от вечных поцелуев, что у ее идола могут быть и другие душевные стороны, кроме любви к ней. Она молится на меня, не уставая, и хочет, чтобы я не уставал слушать ее молитвословия. Она утомляет меня, подавляет меня, раздражает меня иногда своими ласками, и если я осторожно и мягко пробую выяснить это — ее лицо покрывается смертельной бледностью, глаза наполняются слезами, и она пугливо шепчет: „Простите меня, голубчик, не сердитесь“, и на мои губы, на мои руки, на мои глаза сыплются снова страстные поцелуи. Это ее единственный язык, единственное красноречие. Им она прощает, им она вымаливает прощение. Недавно я рассказал ей, сколько мне пришлось перенести сцен с матерью за послед-

нее время, — она бросилась целовать меня, чтобы утешить за огорчения. На днях я рассказал ей, как страшно положение наших бывших крестьян, — она бросилась меня целовать, восхищаясь моей добротой. Ни на секунду не задумалась она о характере моей матери, ни на секунду не задумалась она о нуждах народа. Все заслонено от нее мною. Должно быть, в древних теремах вырабатывались иногда такие личности. Она тоже выросла в тереме, вспоенная, вскормленная вдали от всяких забот, волнений, нужд для того, чтобы сделаться вещью мужчины. Иногда я бешусь на нее, иногда как бы покоряюсь безропотно своей судьбе, зная, что и бешенство, и покорность вызовут один результат — ласки. Я радуюсь, что она готовится сделаться матерью. Может быть, ребенок будет ее спасителем, зародит в ней нового человека — любящую мать...»

«4 августа. Вчера меня на полуслове прервала Марья Николаевна. Она вторгнулась ко мне с шумом и гамом вместе с Зиной, Любой и Павликом. Вот тоже странное существо! Марья Николаевна — это умный деревенский

паренек, нахватавшийся притом и книжных фраз от какого-то захожего семинариста или проезжего барина. Не ждите от этого паренька манер, но у него есть своя грация даже тогда, когда он вынет руки из рукавов рубахи и сложит их на груди под нею; он знает такие скверные слова, что становится жутко за его развращенность, и может остаться девственным вплоть до своей женитьбы не только физически, но даже по мысли, ни на минуту не обращая внимания на сальные картины, не представляя в своем воображении сальных образов; у него масса практического смысла, практических познаний о нужде, кулачестве, пьянстве, труде, и в то же время его может провести первый встречный питерщик, наострившийся во всяком лганье, не моргнув глазом; прибавьте к этому комическое щегольство неизвестно где подхваченными фразами и беспредельную, бессознательную, хватающую за сердце тоску о лучшей, совершенно неведомой ему доле, — вот как мне представляется эта девушка. Это, кажется, совершенно новый, не виданный мною нигде доныне тип. Я ее как-то назвал изломанной, те-

перь я сознаюсь в своей ошибке. Она — цельный человек, сотканный из кажущихся противоречий. И странное дело: чем более сближаюсь я с нею нравственно, тем более сознаю, что изломан более я, чем она, что у меня есть задние мысли, которых нет у нее. Павлик — мой милый Павлик — относится к ней прямее. Меня смущает ее фамильярность в обращении со мною; а он, когда она треплет его по щекам или целует при всех, только смеется и подставляет ей щеки и губы, точно она не девушка, а такой же откормленный мальчуган, как он сам. Сегодня она растрепала мои волосы и сказала, что она ужасно любит, когда я смотрю таким вахлаком. Мне стало сразу смешно, но через минуту я заметил ей: „Полноте, зачем эти шутки! Разве мы дети!“ Но отчего же и не быть детьми хоть на минуту? Или уж так далеко от меня чистое, непорочное детство? Когда она ушла, ко мне пришла Поля и заметила: „Ну, уж барышня, лезет на шею мужчинам“. Я с удивлением взглянул на нее. Что это? Чувство ревности или и Поля уже потеряла способность быть ребенком, понимать ребяческие выходки?..»

«5 августа. Ходил нынче побродить с ружьем и случайно, верст за пять от дома, повстречал на дороге старика крестьянина. Он отдыхал, присев у опушки леса, и глодал кусок хлеба.

— Откуда, старина? — спросил я его.

— Мы не здешние, из другого уезда, — ответил он. Я подумал, что это нищий.

— А сюда-то как попал?

— К сыну ходил, — ответил он. — Кобыла у нас, значит, пала... Сдумали новую лошадь купить, сходно продают тут по суседству... За деньгами к сыну ходил... В работниках он тутотка... Может, знаешь, у Алексея Ивановича Мухортова господина...

Я сказал, что слышал об Алексее Ивановиче.

— Как не слыхал... Все в здешних местах знают...

— Что ж, разве он уж такой богатый?

— Первый хозяин по здешним местам. Наймись к нему работать, так семь потов с тебя стонит. Сам, словно кубарь какой, по полю катается, даром что коротконогий. Только и слышишь: „Ну, ребята, дружнее!“, „Чего, ребята...

та, зазевались?“ А чего зазевались: руками уж народ не владеет, а он все: ну, да ну! И прижать на расчете мастер: начнет считать там прогул, тут штраф, того и гляди, у него в долгу останешься. Зато и дела делает!

— А вы бы к нему не шли?

— Толкуй! Хлеба-то захочешь — пойдешь! Еще как пойдешь-то, сам накланяешься, как животы подведет: возьми, мол, сделай божескую милость...

Старик с полчаса побеседовал со мною о дяде Алексее и о других здешних хозяевах. В сущности, все на один лад. Между прочим старик заметил:

— А тоже, распусти вожжи — по миру пойдешь. Народ нынче балованный. Известно, воля! Пакостник стал человек...

И он стал пространно говорить на эту тему, давно знакомую мне, так как эта тема — излюбленный предмет разговоров и дяди, и Протасова, и большинства здешних хозяев. Слушая все эти толки, я с каждым днем все более и более убеждаюсь, что я хозяйничать не буду, не могу. Скорей бы вырваться отсюда...»

«6 августа. Станный разговор был у меня сегодня с Марьей Николаевной. Я и теперь не совсем еще опомнился от него. Он выяснил мне многое из моих отношений к Поле, — многое, на что я как-то не обращал серьезного внимания. Зина и Люба все рассказали Марье Николаевне, и она совершенно неожиданно спросила меня:

— Отчего вы не познакомите меня со своей Полей?

Я почувствовал, что я покраснел. Я не ожидал, что ей расскажут все, и не предупредил, чтобы не говорили.

— Она простая девушка, — сказал я в смущении.

— Так что ж такое? Вы же живете... Ну, вы ведь все равно, что муж и жена.

— Мы даже не обвенчаны, — ответил я.

— Не все ли равно, законный или гражданский брак?

— О, далеко не все равно, — со вздохом ответил я.

— Как не все равно? Если вы любите друг друга?.. Ведь ей же скучно быть всегда одной?

— Что ж делать? Я не могу ее ввести в круг

своих знакомых и родных... по крайней мере, здесь...

— Да отчего же вы не хотите знакомить с ней тех, кто сам хотел бы познакомиться с ней? Она ведь молодая, мы могли бы сойтись...

— Ей самой неловко будет с вами...

— Это отчего?

Я смутился еще более, не зная, что сказать.

— Она же будет чувствовать неравенство с вами... неловкость... она человек других понятий, — ответил я.

Она как будто удивилась.

— Так разве она так и проживет всю жизнь... одна? — спросила она в недоумении.

— Нет... потом... Я разовью ее... приучу...

Я совсем растерялся. Я так мало заботился об этом покуда!

— Так вы ее учите? Занимаетесь с нею? Чем?

— Всем понемногу, — солгал я, стыдясь признаться, что я почти не занимаюсь с Полей, не могу заниматься.

— Я думаю, вам это очень приятно. Должно быть весело следить, как поднимается, раз-

вивается любимый человек. Она, должно быть, вас очень, очень любит?

— О, да, — воскликнул я. — Это добрая, преданная душа!

Она вздохнула.

— И вы, недобрый, не хотите меня свести с нею!.. Ну, право же, я полюбила бы ее, как сестру... Ведь дружна же я с моей Марфушей, а та и совсем примитивный человек... Такие, право, лучше, цельнее нас...

Я поспешил переменить разговор. Но он глубоко запал мне в душу. В самом деле, на что я надеюсь в будущем относительно Поли? Не может же она остаться вечно такой неразвитою, нельзя же вечно прятать ее от людей, стыдясь за ее невежество? Или я точно смотрю на нее только как на любовницу, от которой, когда она наскучит, можно уйти, жениться на другой? Нет, нет, я должен употребить все усилия, чтобы развить ее, поднять до себя, сделать достойной занять в моем доме место жены и хозяйки, за которую я не краснел бы ни перед кем...»

«7 августа. У дяди праздновали день рождения Любы. Народа набралось много, обед

был очень оживленный. Как обыкновенно бывает на больших собраниях, мелкие сплетни и будничные дразги передавались только шепотом, один на один, общий же разговор шел о всяких злобах дня, об общественных вопросах. Как послушаешь всех этих людей — любого делай министром, сажай в парламент. И научились даже воспламеняться и страшные слова пускать в ход. Марья Николаевна и Павлик, сидевшие подле меня, шепотом знакомили меня, между тем, с биографиями ораторов: тот вор, другой мошенник, третий шулер, четвертый — бит, хотя в точности никто не может сказать, за что его били и когда: тогда ли, когда он соблазнил чужую жену, чтобы обобрать ее, или тогда, когда он пустил по миру опекаемых им сирот, или тогда, когда он просто в пьяном виде произвел дебош в клубе. Я заметил Павлику:

— И охота всех этих негодяев принимать!

— А где же найти здесь лучших? — спросил он. — Вон, Слытковы безукоризненно...

— Глупы, — dokonчил я с улыбкой.

— И честности высокой, — досказал Павлик... И точно, где же взять этих честных лю-

дей?..

Чем больше я присматриваюсь к людям, тем сильнее убеждаюсь в том, что наше время — время двойственности по преимуществу, время крупных умов и мелких душонок, оглушительных фраз и беззвучных обдeldываний делишек „под шумок“, когда невольно удивляешься, узнав, что тот или другой современный „гений“ не только не крадет носовых платков и не подсматривает в чужие карты, но даже не берет крупных взяток и не разворовывает общественных сумм. Теперь большинство — моралисты в одну сторону, а в другую кандидаты, если не на скамью подсудимых в окружном суде, то, во всяком случае, в участок для отеческого реприманда и вытрезвления. Научившись громить чужие пороки, мы считаем себя освобожденными от обязанности следить за своею собственною нравственностью. В этом, быть может, главное зло нашей эпохи всяких прелюбодеев мысли на кафедрах суда, школы, университетов, церкви, литературы... Пророки и апостолы нашего времени, эти друзья меньшей братии ездят на рысаках, пьют шампанское, бро-

сают горсти золота на женщин легкого поведения, и бедняк, после встречи с ними, так и остается при том убеждении, что он встретился, по крайней мере, с губернатором, если не с самим министром. Говоря о меньшем брате, они научились уже колотить себя в грудь не хуже любой парижской актрисы с бульварного театра, играющей в мелодраме жертву; встретившись с этим меньшим братом лицом к лицу, они прежде всего зажмут свой нос надушенным платком, чтобы не слышать запаха трудового пота и нищенских онуч. Проповедники воды, пьющие вино сами, гнездятся всюду! Это вера без дел, а такая вера всегда мертва. Говоря это, я, конечно, имею в виду только интеллигенцию в широком смысле слова, а не тех, кто ест хлеб с мякиной, пухнет от голода и покорно ложится под розги, сознавая, что и точно на нем есть еще недоимки. Эти мысли все чаще и чаще приходят мне в голову. Я с каждым днем сознаю все яснее, что это именно та дорожка, на которой легче всего споткнуться. Трапписты повторяют при встрече друг с другом: *memento mori* — помни о смерти; мы должны бы повторять при

встрече друг с другом: *medice, cura te ipsum* — врач, исцелился сам! Для нас это тем нужнее, что у нас нет почти никакого контроля, что нигде не развита так сильно подлая терпимость, как у нас. У нас все еще человека бранят, а „всюду принимают“. Вот почему мы и не боимся стоять „в поганой луже“... По поводу этого мне вспомнился один случай. Я сидел в концерте. В одном из антрактов к моей матери и дяде Жаку подошел тучный и обрюзгший, небрежно одетый барин.

— А я только что из суда, сейчас кончилось колеминское дело, — сказал он дяде Жаку, пожимая ему руку. — Вообразите, Колемин почти сух вышел из дела. Это просто возмутительно.

По лицу дяди Жака скользнула странная усмешка.

— Чтобы другим повадно было, — ответил он.

Когда старик отошел, моя мать спросила у дяди:

— Кто это?

— Разве ты не знаешь?

И дядя Жак назвал одну из громких фами-

лий...

— Содержатель игорного дома и рулетки, — пояснил он. — У него, наверное, и теперь идет игра. Ловкий шулер...»

«10 августа. Я дал себе слово во что бы то ни стало заниматься с Полей. Это необходимо; в противном случае между нами откроется целая пропасть, и ее уже нечем будет заполнить. К несчастью, два-три урока показали мне, как трудно мне будет исполнить взятую на себя задачу. Вот хоть бы сегодня, я долго занимался с нею, а дело все же не шло на лад. Нельзя сказать, чтобы она была тупа. Нет, но она не умеет сосредоточиться на том, что учит, смотрит рассеянно, думает о другом. Ей просто все это кажется ненужным. Сегодня она, наконец, устала и, со вздохом отложив книгу, заметила:

— Нет, уж мне не быть такой ученой, как Марья Николаевна.

— Почему именно такой, как она? — с улыбкой сказал я. — Ты ее вовсе не знаешь. Может быть, она еще меньше тебя знает.

— Нет, уж не говорили бы вы с ней тогда по целым часам, — тихо сказала она.

Я уловил в ее тоне глубокую грусть.

— Поля, уж ты не ревнуешь ли? — спросил я.

Она испугалась.

— Нет, нет, голубчик, разве я смею? Я рада, что вам хоть с кем-нибудь весело!.. Что за веселье со мною! И так связала вас... а теперь еще это проклятое положение.

— Поля! — воскликнул я с упреком. — Можно ли это говорить? Ты должна радоваться! Ты будешь матерью, у тебя будет о ком заботиться, кто будет тебя любить...

Она заплакала.

— Сама я не знаю, что говорю! — всхлипывая, проговорила она. — Все кажется, что вы перестанете меня любить... Что вам в больной-то!..

Я стал уговаривать ее, утешать. Но на сердце у меня было тяжело. Неужели и рождение ребенка не превратит ее в мать, а оставит по-прежнему только моей любовницей?..»

«12 августа. Сегодня день смерти моего отца. Давно совершилась эта страшная для меня утрата, а я по-прежнему живо помню все мелкие подробности, сопровождавшие ее. В

моих ушах и теперь еще звучат слова отца: „Будь честным... сыном честного солдата...“ Потом, когда я бегал в залу посмотреть на мертвого отца, поплакать у его гроба, меня поразила другой образ — образ священника-мужика с руками, отдающими запахом навоза, с речью, напоминающей ругань на базарной площади. После долгой разлуки, я увидел снова этого человека, и, признаюсь, что-то вроде страха перед ним пробудилось во мне, как в детстве. Я почувствовал, что я перед ним мальчик... Я пошел к отцу Ивану попросить его отслужить панихиду по моему отцу. Странная это личность. С первого раза трудно признать в нем служителя алтаря. Это скорее мужик-труженик, затянувшийся в непосильном труде, питающийся черствым хлебом с мякиной. Сухое, морщинистое лицо его, кажется, сделано из выдубленной кожи; огромные жилистые руки, с распухшими в суставах и искривленными на работе пальцами, грубы и мозолисты; его густые волосы на голове и бороде трех цветов: к темным волосам примешивается сильная седина, а концы этих волос какие-то бурые, точно выгоревшие

на солнце; ввалившиеся глаза смотрят мрачно и не обещают ни любви, ни прощения. Страшная, тяжелая жизнь, прошедшая с детства до старости в деревне, с небольшим перерывом безотрадного пребывания в училище, наложила свою печать на этого человека, вечно обремененного семьей, выжившей из ума матерью, калекой-братом, целой оравой детей, оставшихся рано без матери. Вращаясь среди мужиков, работая неустанно в поле и в огороде, старик сам омужичился... Его боятся все, как фанатика, всегда готового громить людские пороки, и притом громить на том языке, на котором говорят его слушатели. Его проповеди и увещания являются рядом угроз, и, увещевая своих духовных детей с сжатыми кулаками, стуча с угрозой этими кулаками по аналою, он называет этих духовных детей разбойниками, пропойцами, иудами, готовыми продать родного брата. С его исповеди уходят, как люди уходят из бани, в поту, красные, усталые. „Упарил“, говорят они, почесываясь и кряхтя. Он громит не одних мирян, но и духовенство, надевшее шелковые рясы, пустившееся в кулачество. Все знают, что сам он без-

упречен, что он аскет, хотя он и берет за исполнение своих обязанностей все, что следует, ругая при этом дающих, говоря, что они в кабаке целовальнику всегда охотнее дадут, чем на церковь и попу. В народе носятся слухи, что он обладает духом прозорливости и знает, что творится в душе людей. Для этого убеждения есть основательные причины, так как отец Иван в каждой человеческой душе видит непочатый угол всяких низких страстей, корыстных расчетов, гнусных пороков, разнузданных желаний, и почти никогда не ошибается: из двадцати приписанных им тому или другому человеку пороков и грехов, два или три греха и порока заставляют бледнеть или краснеть человека. Уходя от отца Ивана, такой человек убежден, что отец Иван по особому „богодухновению“ прозрел в нем вора, пропойцу или блудодея. Об этом составились целые легенды, как отец Иван уличил Сидора или Трофима на исповеди в грабеже — уличил и „такими глазищами взглянул, что Сидор или Трофим так и рухнулись ему в ноги“. Он отчитывает кликуш и изгоняет бесов.

Меня отец Иван встретил далеко не приветливо.

— Поздно, поздно отца-то вспомнил! — сказал он мне сурово. — Видно, мертвые-то подождут, сперва с живыми похоровадиться нужно...

— Я был уже у отца на могиле не раз, — ответил я.

— Так рубля, что ли, жаль было панихида-то отслужить? — проворчал он.

Потом, сурово взглянув на меня, заметил:

— Тоже и не похвалил бы отец-то за то, как живешь! Вы, бары, пример должны подавать народу, а не так жить, что самим на свет стыдно смотреть... Губители вы, душами-то христианскими, как бабками играете: сшиб одну — хорошо, сшиб пяток — еще лучше... Душегубцы!..

Я молчал и торопился дойти до могилы отца, чтобы скорее началась панихида. Я чувствовал, что если я заговорю с отцом Иваном, то ни он не поймет меня, ни я не пойму его. Его брань можно было только слушать, признавая ее вполне заслуженною, или самому браниться с ним, не признавая вовсе ни его

самого, ни его воззрений. Это фанатик, с которым нельзя спорить, совещаться. Отслужив панихиду и увидав на моих глазах слезы, он проговорил:

— Да, вот и кайся, кайся! Да грех-то свой загладь. Слезы-то — вода; греха ими не загладишь. Что, поди, ребенка скоро приживешь со своей любовницей? Что ж, так он и будет незаконным...

Отец Иван употребил крепкое словцо, бросившее меня в жар.

— Или неровня она, так нельзя жениться? А когда соблазнял ее, тогда ровней была? Поди, и не подумал тогда, кто она. Или не знал? Кабы ты здесь у меня жил, да к исповеди пришел бы ко мне, причастья бы я тебе не дал, покуда греха не загладил бы. У вас-то там только попы-поблажники хвостами перед вами виляют, а вы ими командуете: кровосмесителю тело христово готовы дать.

Он, сурово нахмутив брови, не прощаясь со мною, даже не глядя на меня, пошел прочь от могилы... Сам не знаю, почему мне стало невыносимо тяжело, и в моих ушах продолжало звучать грубое, циничное название,

данное отцом Иваном моему будущему ребенку. Неужели в будущем когда-нибудь кто бы то ни было бросит в лицо этому ребенку эту кличку? Ах, скорей бы мне вырваться отсюда, воспитать хотя немного Полю и кончить все женитьбой, узаконив ребенка. Если даже и не удастся поднять Полю, я все же должен жениться на ней: нужно же заплатить за свои необдуманные поступки, нужно же приносить искупительные жертвы за свои промахи...»

«То же число... Я возвратился домой с кладбища в самом тяжелом настроении духа и пробрался к себе через сад, чтобы не видеть никого, чтобы побыть одному. Усевшись в своем кабинете, я слышал громкие голоса в комнате Поли и сделался невольным свидетелем неприятной домашней сцены: объяснения Поли с отцом. Прокофий в последнее время страшно пьет, как я узнал из разговора с ним Поли. Она не знала, что я дома, и потому не сдерживала своего голоса.

— Стыдитесь вы! Вы нынче из кабака не выходите! — кричала она на отца. — Все деньги у меня перетаскали да еще просите. Нет у

меня!

— Спроси у своего любовника, — пьяным голосом говорил Прокофий. — А не то я тебя!..

— Да с чего вы взяли, что я грабить Егора Александровича буду? — крикнула она. — И без того ради меня целую орду кормит. Ему и одного слуги довольно бы. Держит вас всех, потому что вы моя родня. А я еще стану его обирать. Ни гроша! Слышите, ни гроша вы от меня не получите!

— Ну, так я и сам спрошу, — решил Прокофий. — А тебе уж быть битой! Осрамила нас, да еще лаяться смеешь. На кого? На отца!

— Не я вас срамлю, а вы меня срамите! По кабакам шляетесь. Да если бы Егор Александрович узнал, духу вашего здесь не было бы.

— Посмотрел бы я, кто меня выгонит! Ну, выгонит, так и ты должна за мной идти. Я отец, я власть имею...

— Сейчас убирайтесь вон! — закричала Поля. — Вот придет Егор Александрович, все расскажу ему и скажу, чтобы вас выгнали! Терпения моего больше нет!..

Я ушел, чтобы не слушать дальше. Я впер-

вые узнал, что Поля, вероятно, выносит немало подобных сцен. Вечером я заговорил с нею об этом, чтобы успокоить ее и вместе с нею обдумать, что делать. Она открыла передо мною целую картину закулисных дрязг в моем доме, которых я и не подозревал.

— Ничего не видя еще, все уже насесть хотят! — наивно проговорила она. — Что же я, грабительница, что ли?

Она стала рассказывать мне, как вся ее родня пристаёт к ней, чтобы выпросить у меня денег для себя, для своих свояков, родственников, крестников.

— Если бы все-то исполнять, так у нас гроша не осталось бы. Да я скорее руки на себя наложу...

— Полно, Поля, — остановил я ее.

— Да, как же! Думают, что я живу с вами, так и должна грабить вас для них... Выгнать бы их вон всех, вот и конец...

— Поля, что ты говоришь! — сказал я. — Ведь это все старые люди. Куда они пойдут? Я взял их не ради тебя, а ради того, что они десятки лет служили у нас и теперь едва ли могут где-нибудь пристроиться. Их надо устро-

ИТЬ.

— Вот это все из-за меня, голубчик! — воскликнула она со слезами.

Я никак не мог растолковать ей, что мне совестно было бы пустить по миру наших дворовых. Я решил оставить все покуда в прежнем положении. Когда можно будет уехать в Петербург, устрою дворовых здесь и заживу с Полей вдвоем...»

«Того же числа. Впечатления этого утра сильно взволновали меня. Я не мог ни думать, ни работать, ни говорить. Я прилег у себя в кабинете и взял „Историю крестьянских войн“ Циммермана. Я люблю эту книгу, полную возбуждающих энергию идей и полную горячих симпатий к угнетенным и к защитникам угнетенных. Светлый образ Фомы Мюнцера, — этого отца всех жгучих вопросов нашего времени, этого первообраза всех защитников угнетенных масс, — каждый раз действует на меня одинаково сильно: он дорог мне, дороже всех других идеальных личностей, — дороже их уже потому, что те по большей части не что иное, как создания творческого гения, а он — плоть и кровь: при-

помятая тех, останавливаешься с сомнением над вопросом, могут ли они быть в действительной жизни? Встречаясь с ним, знаешь, что это не отвлеченное понятие, не придуманный образец, а такой же человек, как ты, бившийся в слезах в том же действительном водовороте несправедливостей, заблуждений, жестокостей и беспомощных жалоб! Он говорит не о том, что люди, может быть, „могли бы быть“ такими, а о том, что они „могут быть“ такими. У таких людей следует учиться, им нужно подражать в деле самоотверженности, бескорыстия, любви к народу. В наш пошлый век своекорыстия и фразерства нужно постоянно напоминать и напоминать о таких личностях, словом и делом. Вечером ко мне неожиданно зашли Павлик и Марья Николаевна. Весь охваченный впечатлением прочитанных страниц, я невольно разговаривался с Марьей Николаевной о Мюнцере. Она тоже читала его и любит его.

— Люблю и ненавижу в одно и то же время, — сказала она.

Я удивился.

— Эта книга, — она указала на „Историю

крестьянских войн“, — впервые заставила меня не только презирать себя, но и упасть духом. Когда я прочла обо всех этих бойцах и мучениках за общественное дело, за дело ближних, я вдруг показалась сама себе такой ничтожной, мелкой и пустой. Они вот отказывались от всяких благ для общей пользы, их травили, как диких зверей, а они делали свое дело, шли к намеченной цели; на них клеветали, их выставляли злодеями, а они, не смущаясь, заброшенные грязью, продолжали свой путь. А я? Да, я не умею лишиться себя какого-нибудь ничтожного удобства, я не только не борюсь за кого-нибудь, я просто даже не знаю, что мне вообще делать... Вот мысли, пробужденные во мне этой книгой, и я с тех пор и полюбила ее, и возненавидела... Потом подобное чувство пробуждали во мне многие книги.

Меня это удивило.

— Но ведь вы, вероятно, гораздо раньше этой книги читали евангелие. Там же еще более высокий образ — образ Христа. И он в вас должен был вызвать то же чувство.

— А, нет! Там передо мною бог был, и я по-

нимала, что мне нечего и думать достигнуть до него, нечего и оскорбляться, что я не могу быть такой же безупречной и безгрешной. Тут не то, тут человек, такой же, как я, с ошибками, с недостатками, с внутренней борьбой... Вот почему меня поразило сравнение себя с ним...

Она задумалась.

— И знаете ли что: мне много приходилось видеть людей, и большинство теперь не знает, что делать. Кто и делает что-нибудь, то в нем нет твердой веры в пользу своего дела. Мюнцер беззаветно верил в свое дело, и потому он мог быть таким, каким он был. О, что бы можно дать за такую веру! Полжизни... нет, из тридцати лет жизни можно бы отдать двадцать девять за год такой веры, такой деятельности на каком бы то ни было поприще...

Павлик замахал руками.

— Бог знает, чего вы хотите! Какой веры? Во что? В бога верите? Ну, и довольно! А то вера в какое-то дело. Нашли о чем сокрушаться! Оттого вы и шершавые такие.

— Как шершавые? Что ты выдумал? — крикнула Марья Николаевна.

— Да так: то у вас все идет гладко-гладко, а то и начнутся эти охи да ахи! Вон я живу, пью, ем, подлостей никаких не сделаю; ну, и будет моя жизнь ровна и спокойна. А ваша шершавая вся будет: то напустите на себя бесшабашность, то в уныние ударитесь... одним словом: шершавые!

Марья Николаевна махнула рукой.

— Теленок, ничего он не понимает!

Мы расхохотались.

Павлик загорячился.

— Теленок! теленок! Нет, когда дошло до дела, так я от других не отстал. Недаром из гимназии выключили. Директор говорит: „Выдайте зачинщиков“. „Нет, говорю, господин директор, у нас в семье, у Мухортовых в семье, доносчиков не было“.

И тотчас же, сменяя гордый тон на свой обычный беспечный тон, он прибавил:

— Впрочем, это мне наплевать! Я здесь хозяйничать буду и по земству пойду. Надоели и без того эта латынь и греческая грамматика. Все равно, я не кончил бы...

Мы его не слушали.

Речь у нас опять зашла о Мюнцере, о Кар-

лштадте, о Лютере.

— Это самая ненавистная для меня личность, — сказала Марья Николаевна про Лютера. — Он сам посеял семена и сам же хотел истребить жатву.

— По-моему, это трагическая личность, — заметил я. — Он напоминает чародея, который вызвал демонов и потом позабыл слова заклинания, когда было нужно, чтобы они исчезли.

— Ну, да и было от чего прийти в ужас, когда появились такие башибузуки, как Карлштадт, — сказал Павлик.

— Тогда, Павлик, и все были башибузуки, — заметил я, — но еще вопрос, кто был больше башибузуком: князья ли, утопавшие в распутстве и роскоши, грабя народ, или Карлштадт, в порыве фанатизма восставший против позора этого распутства и этой роскоши. Я, по крайней мере, вполне понимаю в этом случае фанатизм подобных людей, как Савонарола или Карлштадт. Есть обстоятельства, есть эпохи, когда страстные люди могут прийти к сознанию, что все наше беспутное мотовство, безумная роскошь, беспечальное житье

являются не чем иным, как следствием грабежа ближних.

— Ну, уж тоже и жить аскетом — покорно благодарю! — воскликнул он.

— А жить грабителем лучше? — спросил я. Павлик загорячился и почти начал кричать:

— Что ты мне страшные-то слова говоришь: грабители! грабители! Просто люди, которые хотят жить. Ну, а что пользы-то в том, если вот ты во всем себе отказывать будешь? Нищету, что ли, один истребишь? Так она была и будет!

— Я вовсе этого и не думаю. Я лично желал бы довести свой образ жизни до последней степени простоты, чтобы избавиться от внутреннего разлада, от упреков совести, чтобы сознавать, что я ем свой заработанный хлеб, а не чужой. Вот все, чего я хочу достигнуть, стремясь упростить свою жизнь. Но если бы к этому стремился не я один, а большинство...

Павлик не дал мне кончить и закричал:

— Повеситься бы тогда надо было от скуки!

— А ты думаешь, веселье в том, чтобы тратить как можно больше денег? — спросил я, смеясь.

— Ах, что вы с ним говорите! — воскликнула Марья Николаевна. — Он думает, что актеры лучше играют для бельэтажа, чем для райка.

— И самая интересная книга непременно та, у которой дорогой переплет, — добавил я.

На бедного Павлика посыпался град шуток. Он защищался не на живот, а на смерть, то со смехом, то с полудетским задором...

Совершенно незаметно, сидя в беседке над обрывом, мы проболтали до часу ночи, горячась, крича и вскакивая с мест. Вечер был превосходный, и нам не хотелось расходиться. Наконец, Павлик напомнил Марье Николаевне, что ей пора ехать, что ее кучер, вероятно, думает, что барышня пропала. Экипаж ее остался у дома дяди Алексея Ивановича, и потому до него нужно было пройти пешком. Я вызвался идти с Павликом и Марьей Николаевной. Проходя в свой дом за фуражкой, я заметил, что в окне Поли, где не было света, быстро опустилась при моем приближении занавеска. Впрочем, может быть, это мне только показалось...»

«13 августа. Утром, когда я вышел пить

чай, Поля заметила мне:

— Уморили вас вчера гости! До часу сидели, да еще провожать потащили!

— Я сам предложил проводить их: вечер был чудесный! — ответил я.

— И уж любит же поговорить эта Марья Николаевна, — заметила Поля. — И о чем она только находит говорить...

— Вот погоди, Поля, будешь учиться, будет и у тебя о чем говорить. Ты и не знаешь, моя милая, как работает ум, когда много знаешь, много читаешь...

— Что же, все о науках, о книгах говорите с нею?

— С Марьей Николаевной? Да, о науке, о книгах, о людях. Вот вчера толковали об одном великом человеке, любившем горячо народ, пожертвовавшим народу жизнью.

Я начал рассказывать Поле просто, как умел, о Мюнцере.

— Когда читаешь о подобных людях, сам делаешься лучше, хочешь быть похожим на них, хотя немного, чтобы прожить жизнь не даром, — заметил я.

— И вы, вы были бы рады, если бы были

таким? — воскликнула она. — Да он же на смерть шел. И вот вы сказали, что он любимую жену оставил и ходил по городам. Нет, уж какой же это муж... это уж разве самый пропащий человек сделает...

Она вздохнула.

— Нет, мы вот, женщины, не такие... Да я, хоть бы озолотили меня, не бросила бы того, кого люблю... Уж какая же это любовь? Да, верно, его и жена не любила, что отпустила.

Я рассмеялся и в шутку спросил:

— Значит, ты бы меня не отпустила?

Она побледнела.

— Разве я смею! — проговорила она упавшим голосом. — Вы что хотите, то и делаете...

— А если бы смела?

— Никогда бы не отпустила!..

И вдруг, точно испугавшись чего-то, она быстро сказала:

— Да ну их, эти разговоры! Только сердце надрывается! Мне и подумать-то страшно, что бы было, если бы вы таким были. Слава богу, что это не у нас такие люди были, а в чужих землях! Да и давно это было. Сказки, может быть, тоже! Вот посмотрела бы я, что за-

пела бы Марья Николаевна, если бы ее жених, сделавшись ее мужем, удрал от нее... А что, скоро она выйдет замуж?

— Не знаю...

— Уж скорей бы выходила, а то бегают с холостыми мужчинами, срам один...

— Она честная девушка, Поля! — сорвалось у меня с языка.

Поля снова побледнела и тихо со слезами на глазах прошептала:

— И вы тоже попрекаете!..

— Что это ты, Поля, выдумываешь! Чем я тебя попрекаю?

— Что ж, разве я не знаю, что вы это про мой грех говорите, что я нечестная... Только я, Егор Александрович, видит бог, никому на шею не вешалась... и если вас я полюбила, так я знала, что ни у кого я вас не отбиваю...

Она вдруг разрыдалась.

Мне было и досадно, и жаль ее. Не прошло и пяти минут, как она уже просила у меня прощения и бранила себя:

— Мучу я вас! Сама не знаю, чего хочу... Все это от моего положения... Господи, хоть бы скорее кончалось!.. Разлюбите вы меня за

мои слезы да капризы... Уж вы лучше ругайте меня, прикрикните на меня, чтобы я молчала... только не разлюбите вы меня, родной мой!

Она порывисто обняла меня и стала целовать. Впервые в жизни меня тяготили эти объятия, тяготили до того, что я сказал ей сухо и нетерпеливо:

— Полно!

Она застыла на месте, и ее глаза устремились на меня с каким-то безумным выражением ужаса. Я никогда, кажется, не забуду этого взгляда. Она точно услышала свой смертный приговор. Я спохватился и почти целый день старался быть с нею особенно ласковым, чтобы загладить свою ошибку. С ней нужно быть осторожным. Она теперь больна и слишком впечатлительна».

«16 августа. Сегодня произошел странный случай, от которого я еще не совсем опомнился. Я сидел у дяди на террасе с Павликом, Зиной и Любой. Вдруг видим, по саду бежит Марья Николаевна, подобрал подол длинной амазонки, вся покрасневшая, заплаканная, задыхающаяся, Первыми ее словами было

восклицание:

— Ради бога, проводите меня домой! Я боюсь... Это бог знает что такое!

Мы вскочили и бросились к ней, стали ее расспрашивать, что случилось. Она разрыдалась и потом, когда Павлик принес ей воды, отрывочно рассказала, что произошло. Она поехала кататься с Томиловым. Проездив довольно долго, она захотела отдохнуть. Они сошли с лошадей, привязали их к дереву и сели на траву. Томилов начал говорить ей о любви, о страсти и наконец воскликнул:

— Я не могу более бороться с собою! Так или иначе — вы будете моею!

Он схватил ее в свои объятия и стал целовать.

— Это низость... Наглость! Он не смел этого делать! — воскликнула она, заливаясь слезами. — Ну, я ветреная девчонка, я дурачилась, потешалась над ним... Но целовать меня... Разве я дала право?.. Господи, что за позор!

Мы успокаивали ее, уговаривали.

— Я теперь боюсь идти одна домой!.. Павлик, милый мой, проводи!.. И вы, Егор Александрович, тоже... Я одна не пойду... Он, мо-

жет быть, караулит!..

Она походила на ребенка, которого обидели забияки мальчишки. Потом, успокоившись, она опять, чисто по-детски, еще плача, сказала:

— Вот, Павлик, это потому, что я тебя целую... Думают, и меня можно целовать... И какая рожа сделалась у него, рот открылся, глаза точно у пьяного... Господи, какая гадость!..

Она вздрогнула. И вдруг, опять что-то вспомнив, она всплеснула от ужаса руками и в то же время расхохоталась.

— Ведь я его хлыстом ударила, прямо по лицу... Совсем скандал... совсем скандал!..

Мы уже не выдержали и разразились смехом.

— Да, вам хорошо смеяться! — уж совсем серьезно произнесла она, — а что мне за это будет?

— На дуэль вас вызовет! — сказал Павлик.

— Ну, ну, ну, уж ты-то молчи! — ответила она. — Знаю я, что на дуэль не вызовет, а все же... Господи, какая скандалистка!

И, обратившись ко мне, она проговорила:

— Дорогой мой, распекайте меня хоть вы,

останавливайте, а то я бог знает чего натворю! Вас я, право, буду слушаться, а то никакого начальства у меня нет...

Она была очаровательна в эту минуту. Я сам готов был расцеловать ее, как целовал ее Томилов. Мы пошли ее провожать. Она уже успокоилась и весело болтала дорогой.

— А я рада, что так все разом кончилось, — сказала она.

— Отстегали его за все ухаживания и конец, — проговорил со смехом Павлик. — Нечего сказать, приятный финал.

— Да я же, право, это сторяча! Я готова извиниться перед ним. Но уж только теперь о сватовстве, конечно, не будет и речи.

— Вы ошибаетесь, — сказал я. — Томилов никому не сознается, что он употребил насилие и что за это его ударили хлыстом. Он, конечно, будет уверять, что лошади взбесились, что его в лицо хлестнула ветвь, мало ли что можно придумать...

— А я-то на что? Я все расскажу! — воскликнула она.

— Не советую, — сказал я. — Не поднимайте бури. Отказать ему можно и без скандала.

Я с Павликом довел ее до дома и, возвращаясь обратно, долго беседовал о ней. Павлик, между прочим, заметил мне:

— Вот бы тебе теперь присвататься за нее... Она с радостью выйдет...

Я невольно вспыхнул.

— Что ты глупости говоришь. Ты знаешь, что у меня есть Поля. Да и Марья Николаевна никогда не согласилась бы сделать низость и выйти замуж за человека, когда у него не нынче-завтра родится ребенок от другой...»

«19 августа. Дядя долго беседовал нынче со мною о моем образе жизни, очевидно, желая и боясь высказать мне что-то неприятное. Наконец, дело выяснилось. Он вчера встретился с здешним предводителем дворянства, и тот сказал ему, что я веду очень странный образ жизни, что меня следует образумить.

— Я, Егорушка, ничего не понял из того, что он говорил, — сказал дядя.

— Но образумлять меня все же желаешь? — докончил я, смеясь.

— Тебе все хи-хи да ха-ха, — сказал дядя. — А так нельзя. Теперь такое время.

— Какое время?

Он недоумевающим взглядом посмотрел на меня.

— Я почему знаю? Просто такое время... все говорят, что такое...

И вдруг, махнув рукою, он закончил:

— А, да пес их дери! Надоели они мне все! Тут Ададуровы, там Слытковы, здесь предводитель дворянства, все что-то жужжат... Ничего не пойму! У меня хозяйство, навоз на руках, самая горячая пора, а они: такое время! Ну их!.. Только ты, Егорушка, остерегись!

Это начинает меня раздражать. Но не могу же уехать теперь. Пусть прежде поправится Поля».

«22 августа. Сегодня случилось то, чего я никак не ожидал, не предвидел. Я возвращался домой с охоты. Около дома слытковского управляющего мне встретилась Агафья Прохоровна, вышедшая „променаж сделать и подышать воздухом полей“, как объявила она мне. Жеманясь и жантильничая, она стала выпрашивать меня не без ехидства, как мне живется, и вдруг неожиданно заметила:

— А вас, кажется, скоро можно поздравить?

— С чем?

— Помилуйте, весь уезд говорит... Ах, молодой человек, какой вы скрытный!..

В ее тоне слышалась фамильярность. Прежде она так не говорила со мной.

— Я не знаю, о чем говорит весь уезд, — ответил я и хотел идти.

— А Марья-то Николаевна?.. У! Сердцеед! — воскликнула она, кривляясь, как институтка.

— Что Марья Николаевна?

— Как же, отказала жениху, господину Томилову, этому, можно сказать, кавалеру и в чинах, и при деньгах, и потом сиятельного звания будет.

— А, вы вот о чем! — сказал я. — Я даже и не знал, что она отказала ему.

Она погрозила мне пальцем и проговорила:

— Скажите! Не знали! А для кого отказала? А?

Она опять погрозила пальцем.

— Знаем мы! Все об этом говорят!

Меня разбирала злость.

— Да говорите толком! — крикнул я. — Какие там еще сплетни ходят?

— Ах, скажите, какой моветон! — обиделась она. — Или думаете, что теперь уже так и не сорвется? Так я вам скажу: Марья Николаевна капризный человек, сегодня голубит, а завтра — вот бог, а вот порог. Уж с господином Томиловым амурилась, амурилась все лето, а теперь и отставку дала. На нее недолго не потрафить!..

Она сделала мне книксен и, виляя юбками, пошла дальше по дороге. Не помня себя, я догнал ее, схватил за плечи так, что она присела, и, потрясая ее, крикнул:

— Если ты еще хоть слово скажешь о Марье Николаевне или обо мне, так я тебя...

Она завизжала неистовым голосом. Тогда я только опомнился. Оттолкнув ее, я быстро пошел домой. Мне было стыдно за себя, за этот неожиданный порыв бешенства.

Я не ожидал, что о Марье Николаевне идут такие толки. Впрочем, что же мудреного? Мы видимся почти каждый день. Эти слухи, может быть, распускает сам Томилов. Надо оградить ее от них, надо порвать сношения. Но разве я могу?.. Не могу, но это нужно! Дело касается ее чести. У меня болезненно сжимается

сердце при мысли, что я должен лишиться и этого друга! „Сколько светлых минут дала ты мне, добрая, милая девушка...“

Восьмая глава

I

Мужчины по большей части народ очень недальновидный в частной, домашней, семейной жизни. Занятые служебными обязанностями, управлением своими именьями и предприятиями, общественными и научными вопросами, просто, наконец, кутежами, игрою, попойками на стороне, они не имеют ни времени, ни охоты, ни умения пристально вглядываться в окружающие их мелочи жизни. Женщина окружена со всех сторон именно этими мелочами жизни, и волей-неволей ей приходится разбираться в них. Она почти всегда первая открывает мужчинам глаза на то, что их прислуга груба, воровата, развратна, что за их дочерьми начинает сильно ухаживать тот или другой человек, что у их сыновей являются те или другие дурные привычки и склонности. Нередко вполне довольный собой и своей средою мужчина, когда ему «откроет глаза» женщина, вдруг ви-

дит, что кругом него соткалась целая паутина всяких дрызг и сплетен, что он стоит по колена в болоте всяких мерзостей и грязи, что его милые сестрицы и тетушки в сущности ведьмы, преследующие его жену, что его лучшие друзья не что иное, как развратники, соблазняющие его жену, что его старые знакомые, почтенные дамы — чудовищные сплетницы, старающиеся оклеветать и очернить его жену, их семейные отношения. Женщина, отстраненная от общественной деятельности, вся отдавшаяся своей семье, своему дому, своему хозяйству, не только подмечает эти мелочи, она выискивает их, она неустанно возится с ними, так как это наполняет пустоту ее жизни.

Егор Александрович не был исключением из большинства своих собратий и не знал, в сущности, ничего из того, что делалось в его доме, за его спиной, Подслушанный им случайно разговор Поли с Прокофьем приподнял только уголок завесы, закрывавшей от молодого человека закулисную жизнь в его доме. Поля же жила этою жизнью изо дня в день, перестрадала ее.

Родные Поли, оставленные Егором Александровичем в доме, принадлежали к числу типичных дворовых «доброто старото времени». Почти праздная и сытая жизнь в барском доме развратила их нравственно до мозга костей: поменьше работать, побольше бражничать, обирать господ, не заботиться в то же время о черном дне — из этого соткалось все существование этих людей, не имевших ни кола ни двора. С первых же дней переселения в охотничий домик они «наесли» на Полю; в ней они видели «полюбовницу», «содержанку» барина; они знали наверное, что он ее бросит не сегодня, так завтра, так как когда же бывали примеры, чтобы господа не бросали таких-то девушек; вследствие всего этого, по их убеждению, нужно было сорвать с барина теперь все, что можно, так как после близок будет локоть, да не укусишь его. Поле приходилось немало «грызться» с ними в те бесконечно долгие часы, когда она оставалась одна, и она вдруг очутилась в странном положении: она была барыня над всеми этими слугами и в то же время младший член этой семьи, имевшей право по родственному стар-

шинству кричать на нее. Хуже всего были ее отношения к отцу. Прокофий был типом выживающего из ума старика-дворецкого, прошедшего всю грязную школу бывшего дворового. Он с детства вырос в барской передней. Когда-то он был чересчур близок к бабке Мухортова, обещавшей отпустить за эту близость мальчугана на волю. Но она умерла скоропостижно, и мальчика стали держать в черном теле, отплачивая ему за то, что он «задирает нос» при старой барыне. Потом ему выпало опять на долю печальное счастье сделаться мужем барской любовницы и отцом барского ребенка. Затем он долго играл роль дворецкого и, имея под руками барский буфет и барский погреб, приучился попивать. С годами эта страсть усилилась, и теперь, очутившись почти без дела, он стал уже пить не запоем, а постоянно. Он говорил, что он пьет с горя.

— До чего дожили, — рассказывал он каждому, кто хотел его слушать. — В разор разорились. Нищими стали. Родовое свое именье продали! Отцы-то да деды копили, а мы все в трубу выпустили! На людей-то смотреть стыд-

НО...

Когда же любопытные спрашивали его:

— Ну, а как сам-то? Убивается?

Он презрительно отвечал:

— Что сам! Разве нонче господа есть? Где это они? Одно название, что господа... Нонче наш-то моду выдумал: сам дрова колет!..

И уже совсем злобно добавлял:

— Да это что! Сам постель себе делает, не послужи ему. «Я, говорит, без услуг обойдусь»... Это что же? Господин разве?.. Да у дедушки-то его казачок мух с лица отгонял, когда тот поживать изволил!.. А этот сам все делает... Кто его после этого уважать будет?.. С мужиками тоже толкует, точно ровня... Раскольника какого-то нашел, да с ним по целым часам беседует, спорит... Веру, что ли, переменить хочет? Так разве это барское дело? Раскольник — мужик, а он — барин, так ему не след с ним якшаться... Это какой же фасон?.. К Поле и к ее положению он относился странно. То он гордо говорил, что его дочь делает, что хочет из молодого барина, «веревки вить из него может»; то он вдруг начинал роптать, что дочь осрамила его, в любовницах бар-

ских живет, седую его голову позорит; сама по своей воле связалась, а не силком тащили на грех. Иногда он плакался, что будет, если барин бросит Полю; порой же грозил, что он уйдет и потребует Полю к себе, так как «дочь по закону должна пропитание отцу давать». В существование такого закона он верил твердо.

— Прикажу идти за мной — и пойдет! Я отец! Мне на него наплевать, потому что мы теперь вольные. И какой он такой барин? Нищий он, вот что! Хочешь жить с моей дочерью, так женись, а не срами мою седую голову!

И в голосе полупьяного старика слышалась угроза. Уважения к барину он, по-видимому, не питал никакого, по крайней мере, за глазами барина. Вся эта путаница настроений и понятий выживавшего из ума и сильно попивавшего старика страшно волновала Полю; но, тем не менее, объяснить с Егором Александровичем молодая девушка не могла. Его спокойствие было для нее дороже всего.

— Хоть бы меня-то вы пожалели! — говорила она отцу.

— А ты-то меня пожалела? — отвечал он. — Осрамила, а я тебя жалеть буду? Нет, проклясть бы я тебя должен, а не жалеть. Жалеют-то таких, которые отцов не срамят!..

— Чем осрамила-то? Сами вы меня срамите, погибший вы человек! Слово мне сказать стоит — и завтра же вас здесь не будет.

— Ну, это еще посмотрим!

— Да и посмотрите! Выгонят вас на все четыре стороны, тогда и ходите по миру! И будет это, потому что лопнет мое терпение, все я расскажу Егору Александровичу...

Старик трусливо смирялся на время — на день, на два, — а потом снова начиналась та же история. Егор Александрович не замечал почти ничего. По привычке, сделавшейся второй натурой, при появлении Егора Александровича Прокофий делался покорным, подбострастным дворецким-холопом, и только; он даже умел, несмотря на хмель, «пройтись по одной половице», чтобы барин, оборони господи, не заметил чего-нибудь. Но как ни страшен был этот семейный ад для Поли, его заслоняло в ее душе другое чувство — чувство ревности. Это чувство, несмотря на все ее уси-

лия побороть его, росло с каждым днем и просто душило ее. Каждое появление в доме Марьи Николаевны было испытанием для молодой девушки. Зачем ходит Марья Николаевна к холостому человеку? Эта барышня на все способна! Ей ничего не стоит отбить человека у другой. Никакой власти над ней нет. Что хочет, то и делает. О чем говорит с нею Егор Александрович? Он рассказывает, что они говорят все об ученом, да разве у нее горело бы так лицо, если бы они об ученом разговаривали. И что за радость говорить-то об этом? Скука только одна, а ей, поди, не скучно, если и щеки горят, и глаза, точно огонь, светятся! Об ученом-то так не разговоришься! Выходила бы скорей замуж за своего Томилова! А то двум на шею вешается, подлая душа! И где такая выискалась? Другие барышни хоть приличия знают. Тайком шуры-муры заводят. А эта разнузданась совсем. И среди этих мучительных тревог и сомнений вдруг являлись мысли о том, что она, Поля, лишняя. Эта мысль болезненно охватывала девушку, сжимая сердце. Связала она по рукам и ногам Егора Александровича. Добрый он, не бросит он

ее, пока она жива, а каково ему с нею? Ни говорить она с ним не умеет, ни гостям он ее показать не может, да еще теперь, в этом положении, и хворает она, ему же горе доставляет, то раздражая его, то плача. Горя ему от нее много, а радости никакой! Тут и милую разлюбишь. Что мужчине в больной-то? Скорей бы хоть это кончалось! А после-то что? После-то как они будут жить? Вот целая семья у него на шее ради нее сидит! Выгнать-то их он не захочет. Говорит: «Куда же они пойдут, обеспечить их надо». Это он все для нее, для Поли, делает. Без нее с чего бы ему о ее родне заботиться? Толкует он, что он должен позаботиться о стариках, потому что его семья загубила, испортила, развратила этих людей. Пустое это он толкует. Что ему они? Не детей ему с ними крестить. Выгнал и конец! Это он только так по доброте душевной, для ее успокоения рассказывает. Как ребенку-несмысленочку глаза отводит. Точно она не понимает, что кто ж их губил, портил да развращал? Сами такими вышли. Вот уж истинно загубила она человека. И хоть бы любил, а то... По доброте своей он говорит, что любит. За что ему

любить ее? Сначала, может быть, и любил, а теперь... Господи, хоть бы выздороветь скорее! И нужно же было этому греху случиться! Молилась, чтобы только детей не было, так нет! Бог-то, видно, таких молитв не слышит. Согрешила и казись!.. И, точно какой-то бесконечный клубок, разворачивались в голове Поли скорбные, черные мысли. Вспоминались мелочные сцены, выражения Егора Александровича, его вздохи, его взгляды. Все ловилось, все становилось на счет. Вон сказал про Марию Николаевну: «Она честная девушка». Что и говорить: вешается-вешается людям на шею, а до греха не дойдет; ей зачем, когда на ней каждый женится; таким-то и грешить не для чего, когда все по закону можно сделать. Тоже пытал стращать, что вдруг уйдет, как тот... как его?.. Фома какой-то, про которого в книгах пишут. Шутил он это, а может быть, и точно наскучило ему, невмочь стало, ну, и хочется бежать, как тот от жены бежал. «Ты бы, говорит, отпустила?» «Голубчик, да разве я смею не отпустить! Если бы смела, на шаг бы не отпустила, взглянуть ни на кого не позволила бы!.. Да нет, нет, что же

это такое! Пусть идет, куда хочет! Я не помеха, я не губительница! Говорю, что люблю, а сама кандалы надеть хочу, руки и ноги связать хочу. Пусть идет, пусть идет, только бы был счастлив. Самой мне уйти бы следовало...» И глаза Поли с каким-то тупым выражением ужаса останавливались на одной точке. Это были глаза безумной. В голове происходило что-то недоброе...

— Куда же я-то могу уйти? — медленно, как бы в бреду, шептали ее побелевшие губы, и голос становился глухим и удушливым, точно кто сдавливал ей горло. — Ну куда мне уйти... некуда... некуда!.. Разве с головой в воду... Освобожу его!.. Полетит на все четыре стороны... Крылья будут развязаны!.. То-то проклятая змея подколотная будет рада!.. О-о, из своих рук задушила бы ее, разлучницу!.. Грех-то какой, грех!..

По спине несчастной пробежал холод, голова тяжелела, руки и ноги цепенели. Вместо мыслей в голове вставали страшные картины, страшные образы.

В одну из таких мрачных минут в комнату Поли, сидевшей за шитьем, вошел Прокофий. Он не был пьян, но выражение его морщинистого лица было крайне сурово.

— А я к тебе, дочка, — сказал он, подсаживаясь к дочери. — Ты видела сегодня Егора Александровича?

— Как же не видать-то, — ответила она отрывисто. — А вам что?

— А то, что... Что он говорил-то тебе?

— Мало ли что! Всего не перескажешь!.. Да вам-то, спрашиваю, что?

— А то, что встретил я сейчас Агафью Прохоровну... Подлая, право, подлая!.. Разлетелась ко мне с поздравлениями... «Марья Николаевна, говорит, своему жениху отказала, за Егора Александровича выходит. Вам, говорит, радость, тоже зятьком приходится вам Егор Александрович». Тьфу, окаянная! Этакие слова на старости лет приходится слушать!..

Поля побелела, как полотно, поднялась с места и, зашатавшись, ухватилась за стол. Но, собравшись с силами, она все же заметила

дрожащим голосом:

— Охота вам было говорить с нею!.. И ко мне-то эти вести зачем приносите?.. Тварь она поганая, и больше ничего!.. Ни на ком Егор Александрович не женится...

— Ой, не хвались! — проговорил Прокофий, стуча рукой по столу. — Еще насмотримся мы горя... Загубила ты себя, да и меня с собою... Вон в гробу одной ногой стою, а угла, может, скоро не будет, куда бы седую голову приклонить... Говорили, чтобы замуж шла... всем бы хорошо было...

Поля молчала, точно Прокофий говорил не о ней. У нее в голове снова вихрем проносились тяжелые думы, цепляясь одна за другую. Разобраться в них у нее не было ни сил, ни умения.

Она с лихорадочным нетерпением стала ждать Егора Александровича, чтобы расспросить его обо всем! Он, как назло, вернулся в этот день с охоты только вечером, к чаю. Поля заметила, что он сильно устал, но, тем не менее, не выдержала и спросила его за чаем:

— Правда это, Егор Александрович, что Марья Николаевна своему жениху отказала?

Она произнесла эту фразу насколько могла спокойно.

— Да, — ответил он рассеянно.

— Верно, другого нашла? — сказала Поля, бледнея.

— Нет, просто не любит она Томилова.

— Не любит, а столько времени хороводилась с ним!

— Глупости ты говоришь... О том, Поля, чего не понимаешь, лучше не говори... Марья Николаевна...

— Ну, где уж мне понять, — страстно перебила его Поля с необычайною для нее резкостью. — Я простая девушка, не барышня! Мы не умеем за десятью бегать, если одного любим...

Егор Александрович поднял на нее удивленные глаза. Он только теперь подметил ее волнение.

— Чего ты горячишься? — спросил он спокойно. — Ты вот, простая девушка, хочешь очернить ее, сама не зная за что, а она, барышня, христом богом просила меня, чтобы я познакомил ее с тобою, чтобы она могла познакомиться с тобою.

Поля вспыхнула еще более и опять загорячилась:

— Не нуждаюсь я в их дружбе! Эдакие-то друзья обнимать станут — задушат!..

— Это кто же тебе сказал? Не Марфуша ли сказала про Марью Николаевну? — спросил Егор Александрович, укоризненно качая головой. — Ты ведь Марфушу знаешь, говорила с ней...

И грустным тоном он добавил:

— Видишь ли что, Поля: про нее, кроме доброго, никто из окружающих ее, из близких к ней ничего не скажет. За что же ты ее бранишь? Ведь уж не такая же ты сама безгрешная да добрая, чтобы всех других судить...

Поля смотрела на него уже с испугом. У нее сжалось сердце. Он мягко и осторожно продолжал:

— Ты, голубка, все о себе только думаешь, надо и о других подумать. Может быть, другим тоже не сладко живется. Сквозь золото тоже слезы льются.

— Вы ее любите? — совершенно неожиданно спросила Поля упавшим голосом.

— Да, она добрый и хороший человек. За

что же мне ее не любить? — сказал Егор Александрович и с улыбкой прибавил: — Ведь это только ты, не зная ее, бранишь ее... Ревнива ты, Поля. Я этого и не знал. Так нельзя, милая... Ведь не могу же я без людей жить...

— А я? Мне никого, никого, кроме вас, не нужно! — воскликнула Поля.

— К несчастью, покуда тебе приходится так жить, — ответил он. — Но всегда так жить нельзя. Вот почему я и стараюсь, чтобы ты подучилась, развилась...

Она поднялась с места.

— Не надо... ничего мне не надо! — сухо сказала она. — Не барышня я...

Он вздохнул. Ему начинали надоедать эти разговоры. Десятки раз пробовал он объяснить Поле, что ученье и развитие только скрепят их союз. Она никак не могла понять почему. Ему наскучило возвращаться к этому вопросу, к одному и тому же вопросу, к одним и тем же объяснениям. Это была какая-то работа белки в колесе, приводившая в отчаянье своей бесполезностью, своей безуспешностью. Допив стакан чаю, он встал, поцеловал Полю в лоб и прошел в свою спальню. Моло-

дая девушка осталась у стола, точно окаменев. В ее мозгу была только одна мысль: «Не меня, ее любит!» Потом, вдруг опомнившись, она спохватилась, что она все-таки не спросила его о главном: не женится ли он на Марье Николаевне? Да что же и спрашивать? Если любит, так и спрашивать нечего. Женитьба что? — Любовь главное!..

Поля опустила на стул, закрыла лицо руками и зарыдала.

III

На следующий день Прокофий снова забрел под вечер к дочери и рассказал ей, что Агафью Прохоровну чуть не побил Егор Александрович за то, что она его поздравила, как жениха Марьи Николаевны.

— Что вы душу-то мою выматываете, — воскликнула Поля. — Сердце-то мое по частичкам разорвать хотите! И так я исстрадалась!.. Местечка во мне живого нет!.. Хотите, чтобы руки на себя наложила, что ли?.. Ну, хорошо, хорошо, порадуется еще!.. Ведь у меня исхода нет, просвета нет впереди!..

Прокофий испугался.

— Что ты, обезумела, что ли? — проговорил он, махая рукой. — Не к тому я... А надо же тебе знать... Если он ее, Агафью-то, поколотить хотел за Протасиху, значит недаром. Так-то с чего бы? Мало ли псы брешут... Ах, дочка, дочка, много ты горя нам принесла...

Поля заплакала, ничего не отвечая отцу. Он подошел к ней и мягко заговорил:

— Ты не убивайся... Может, он и не любит ее, а только дела поправить хочет... Тоже невеста выгодная... Ну, женится, тогда и нам легче будет, обеспечит по крайности...

— Ничего мне не надо, ничего! — крикнула Поля, отстраняясь от отца. — Не за деньги люблю! Слышите! Вы за деньги душу продавали! Я не такая! Все погибайте, все по миру идите, если он разлюбил! Никого не жаль, себя не жаль, если разлюбил!..

Она походила на сумасшедшую. Ее глаза горели сухим, лихорадочным блеском, на щеках проступили красные пятна.

— Идите, идите! — сурово продолжала она выкрикивать. — На грех вы все меня толкаете, на смертный грех!.. И бог вас накажет, если я... Господи, видишь ты, не вольна я в се-

бе! — воскликнула она, обращая безумные глаза к образу.

Прокофий испугался не на шутку.

— Полно, полно! — заговорил он. — Ну, перемелется... Вот водички выпей...

Он дрожащими руками торопливо налил в стакан воды и подал Поле. Она бессознательно выпила воду и почувствовала озноб. Не прошло и получаса, как ей стало хуже. Ее била лихорадка. Ее силы настолько ослабели, что ей пришлось лечь. Егор Александрович, услышав, что Поля захворала, поспешил за доктором...

Дней пять молодая девушка не вставала с постели. Ее физические силы были надломлены, но несколько дней, проведенных в постели, успокоили немного ее нервы. Заботливость Егора Александровича если не пробудила в ней луча надежды на его любовь, то согрела ее, смягчила ее сердце.

— Господи, какой вы добрый! — шептала она, целуя его руки с какой-то покорной благодарностью. — Душу готовы мне отдать, а я...

— Да ты не волнуйся, Поля, — уговаривал он ее, ласково улыбаясь. — А то я сердиться

буду... Доктор говорит, что в твоём положении главное — спокойствие...

— А вы испугались, когда я заболела?

— Ещё бы!

— Думали, умру?

— Ну, этого-то не думал... Ты ведь по натуре здоровый человек...

— А если бы умерла?

— Полно глупости придумывать!

— Нет, отчего же!.. Вот я умерла бы, женились бы вы...

Он покачал с упреком головой.

— Зачем ты сама причиняешь себе лишние тревоги, лишнее горе? — сказал он серьёзным тоном.

Она промолчала. Потом осторожно заметила:

— А что же Марья Николаевна, кажется, и ходить к нам перестала?

— Неудобно ей ходить теперь ко мне, после того, как она отказала Томилову.

— Это почему? — спросила Поля.

— Потому, что теперь ещё бог знает, что начнут сплетничать про нее.

Поля взглянула пристально на Егора Алек-

сандровича.

— Что ж, будут говорить, что вы ее жених? — сказала она.

— Это же неприятно, когда я не жених и не могу быть ее женихом.

Поля вздохнула.

— Скучно вам без нее будет...

Мухортов на мгновенье сдвинул брови. Поля угадала. Ему уже было скучно, что он не видал несколько дней Марью Николаевну. Но тем не менее он поспешил оправиться и равнодушно ответил.

— Не скучал же я без нее прежде...

Послышался новый вздох Поли.

— Да, — проговорила она, — я, Егор Александрович, лежала вот и все думала. Правда это, что учиться мне надо. Скорей бы только все кончилось. Тогда я стану учиться всему, всему. Так нельзя. Что ж, в самом деле, это за жизнь: свой дом есть, а к другим надо вам бежать душу отвести...

Она обратила к нему заискивающий, просительный, боязливый взгляд:

— Тогда ведь будете любить?

— А теперь не люблю? — шутливо спросил

он.

Она покачала головой.

— Нет, вы не шутите... Не надо!.. За что же меня любить?..

IV

Выздоровление Поли шло медленно, хотя она уже и не лежала в постели. Ее лицо страшно изменилось. Оно похудело, на щеках был багровый румянец, в глазах был сухой блеск. К несчастью, и погода стояла такая, что легче было расхвораться, чем выздороветь. После сухого и теплого августа настал ненастный сентябрь. Мелкие осенние дожди шли в течение целых двух недель. Казалось, над землею проливались молчаливые, неутешные слезы. В охотничьем домике царила тишина, царила скука. Егор Александрович или работал в своем кабинете, или ходил на охоту, или беседовал с разными мужиками; Поля тоскливо шила мелкие, необходимые для будущего своего ребенка, вещи. Ручная женская работа сильно располагает к думам, и у Поли не было им конца. Во время болезни ее охватило желание учиться, развиваться. Но это

было минутною вспышкой, последней соломинкой утопающего. Этими мечтами Поля тешила себя, стараясь уверить себя, что она скоро сделается такою же, как Марья Николаевна, и что Егор Александрович тогда полюбит ее. Так иногда одиноко растущие дети сами себе рассказывают сказки. Теперь эти мечты вдруг куда-то улетучились, исчезли, и их заменили новые безотрадные думы. Смотря на Егора Александровича, Поля видела, что он чем-то озабочен. Ей не приходило в голову мысли о том, что ему было о чем подумать, что ему приходилось решить трудный вопрос, как жить, какой дорогой идти, к какой цели стремиться. Работа его мысли, мучительная и болезненная работа, от которой он худел и бледнел, от которой он не мог ни бежать, ни укрыться, была неизвестна, непонятна ей. Она удивилась бы, что можно биться в слезах над отвлеченными вопросами о правде, о честности, о добре, о боге. Для нее все эти вопросы были давно ясны и разрешены, как для ребенка ясен и разрешен вопрос о том, что деревянная палочка, на которой он скачет, есть настоящая лошадка. Ей просто

казалось, что Егор Александрович «скучает». И как же не скучать? Один он. Даже Марья Николаевна не ходит к нему. С нею, с Полей, ему не весело. Вот если бы она была образованная, как Марья Николаевна. Нет... где ей! Вон книжки он ей читает, так ее ко сну клонит. Что в них, в книжках! Нет, уж видно, она такую уродилась, что ей ничего не надо. Да, ничего и никого не надо, только бы Егор Александрович был с нею. Ей вспомнилось, что Егор Александрович говорил ей как-то, что нужно любить всех людей, как братьев, что иначе и самого человека никто любить не будет. А кого же она любит? Кто ее любит? Да за что же ей их любить? За что им любить ее? Тоже не мало люди-то ее грызли! И теперь грызут! Перед нею вставляли образы ближних: Софья Петровна, любившая ее, как любят кукол: играют с ними и ломают их; Агафья Прохорова, вечно рывшая ей яму да лаявшая, как собака из-за кости; тоже тетушка Елена Никитишна хороша, замуж за постылого хотела выдать, чтобы под старость жить у нее, у Поли; отец — на всякий грех благословил бы он, лишь бы денег за это дали, пропойца бес-

совестный. Нет, это господам хорошо любить ближних; за деньги-то эти ближние у господ руки лижут; горя-то при деньгах от ближних не приходится видеть. Вон Марья Николаевна, поди, весь мир любит, с жиру... Легко так-то любить! Вынула из кармана деньги да и дала! Вот, мол, как я вас люблю! Все равно ей, много у самой останется. А попробовала бы любить, когда каждый норовил бы обидеть да загрызть... Мысль о Марье Николаевне снова навела Полю на вопросы: не видится ли Егор Александрович с Марьей Николаевной тайком? Она ведь хитра, сумеет найти уголок, где встречаться. Не выпустит она его из рук. И то сказать, такого-то красавца какая девушка не полюбит! Разлучница, креста-то на вороту у нее нет. Видит, что человека другая любит, а она отбивает. Мало мужчин, что ли? Выбирала бы в другом месте... В душе опять поднималось негодование против Протасовой...

Эти думы Поля были в одно сентябрьское утро прерваны громким говором в гостиной. Поля подбежала к двери и замерла на месте, сразу узнав знакомый голос.

— Марья Николаевна, какими судьбами! —

воскликнул Егор Александрович в гостинной.

В его голосе послышалась радость.

— Здравствуйте, добрый мой... Тысячу лет не видала вас, — проговорила Марья Николаевна торопливо. — Ну, да теперь некогда говорить... Мне говорили, что у вас каждый день бывает доктор... Не у вас ли он?

— Нет, но будет сейчас... А что?

— Ах, несчастье! У Марфуши сын заболел... Дифтерит, кажется... Я не знаю, но боюсь... Ведь он у нее один... Милый, скажите доктору, чтобы сейчас же... Вы знаете, где живет Марфуша?

— Да, знаю...

— Ну, так укажите ему...

— Так подождите его...

— Нет, нет, я туда поеду... Нельзя ее одну оставить... Знаете вы их, еще что-нибудь натворят, глупые... Этакая ведь беда!..

Она в волнении пожала руку Егору Александровичу и быстро вышла из комнаты. Поля, совсем помертвевшая, вошла в гостиную.

— Что это? — глухо сказала она. — Марья Николаевна была?

— Да... Какое горе у бедной... У Марфуши

сын захворал... Скорей бы доктор приехал...

Егор Александрович посмотрел на часы.

— Поехать ему навстречу — разъедешься, пожалуй? — в раздумье рассуждал он, не зная, что делать.

— Да ведь дифтерит... это прилипчивая болезнь?.. — сказала Поля.

— Да...

— Так как же?..

Он рассеянно ответил, все еще глядя на часы и соображая:

— Ну, Марье Николаевне не до этого... Мальчуган же ее крестник... Да она и любит Марфушу, как сестру...

— Да я не о том, — отрывисто сказала Поля. — А как же вот к вам пришла... Еще пристанет... к вам... Тоже о других-то не думает... На самоё-то смерти нет.

Егор Александрович раздражился и почти с отвращением взглянул на Полю, точно он был готов в эту минуту раздавить ее ногою.

— Сердца-то у тебя нет! — запальчиво сказал он. — Тут люди заботятся о спасении жизни других, о себе забывают, а она...

У Поли мгновенно опустились руки. Ее

точно холодной водой облило. Он закусил губы, уже сердясь на себя за невольную вспышку. В последнее время он особенно упорно наблюдал за собою, чтобы подавлять всякие порывы раздражения и гнева. Но это давалось нелегко. В эту минуту подъехал доктор. Егор Александрович торопливо пошел ему навстречу.

— Доктор, прежде всего поедемте в другое место, — проговорил он, пожимая руку доктору. — Сюда потом заедете, а там дифтерит... отлагать нельзя...

Он торопливо пошел с доктором к выходу... Поля не трогалась с места...

— Окаянная! окаянная! — шептала она, тупо смотря перед собою. — Немудрено, что не любит... Ненавидеть будет...

Она начала себя бить кулаком в лоб.

— Всех только клянешь, да ругаешь, а сама... Ах, ты, проклятая!.. Ни на этом, ни на том свете не простится!.. Как собака издохнешь!..

И что-то вспомнив, она с горечью проговорила, повторяя слова Егора Александровича почти его голосом: «Сердца у тебя нет! Тут лю-

ди заботятся о спасении жизни других, о себе забывают, а она...» Голубчик, голубчик мой, — крикнула она вдруг рыдающим голосом, — никогда не буду, никогда!.. Прости, прости, родной мой!.. Загубила тебя, загубила!.. Ангельская ты душа...

И вдруг широко раскрыв глаза, с открытым ртом, она смолкла, вся похолодев.

— А ребенок? — каким-то вздохом прошептали ее синеющие губы. — Он как же!.. Вместе со мною?.. Нет, нет, что ребенок?.. Его... пусть... свободен будет...

Она, шатаясь, заметалась по комнате, точно что-то отыскивая ощупью; случайно натолкнулась на дверь, ведущую к террасе; побежала по дорожке, как-то бессознательно делая движения рукой, как бы стараясь за что-то ухватиться, придержаться, чтобы не упасть; добежала до беседки над обрывом и сбоку, где была живая изгородь, быстро, бессмысленно раздвинув ветки колючего кустарника, ринулась вниз.

Послышался сильный всплеск воды...

Девятая глава

I

Сентябрь пришел к концу; наступил октябрь. Дождливые дни снова сменились ясными и замечательно теплыми осенними днями. Но эти дни, несмотря на тепло, уже не походили на те августовские дни, когда в воздухе еще не слышалось осенней свежести, когда деревья в саду охотничьего домика еще были вполне зелены, когда здесь все было еще в полном цвету. Теперь весь сад, сильно запущенный за последние дни и давно не метенный, был полон желтых и красных листьев; в клумбах цвели почти одни астры, наминавшие своими безжизненными цветами выцветшие искусственные цветы, да кое-где виднелись еще в вышине грубые, яркие цветы георгин, вытянувшихся выше человеческого роста. На ступенях террасы охотничьего домика сидел Егор Александрович в своем обычном костюме, — серой суконной блузе, подпоясанной кожаным ремнем, в вы-

соких сапогах. Он был неузнаваем: казалось, он и вырос, и возмужал за последние дни, и в то же время осунулся, похудел и побледнел; он стал шире в кости, но юношеская мясистость исчезла, черты лица приняли более резкий характер, утратив округлость; в последнее время он перестал подстригать бороду и баки, еще не видавшие бритвы, и теперь еще лицо было окаймлено мягкими, пушистыми белокурыми волосами, несколько скрадывавшими худощавость лица; но эта худощавость тотчас же делалась заметной, стоило только взглянуть на его глаза: они сильно ввалились и сделались как будто больше, темнее, глубже и смотрели сосредоточенно, серьезно и вдумчиво. Он сидел одиноко, сдвинув брови, не обращая внимания на окружающие его предметы, чертя бессознательно прутом какие-то узоры на песке, очевидно, отдавшись тяжелым думам. Они, казалось, охватили его всего.

— Опять без книги, опять передумываете горькие думы. Так нельзя. Нужно же рассеяться! — слышался около него мягкий и ласковый голос. — Вы изведете себя совсем.

— А, это вы, наш добрый гений, — очнувшись, сказал Егор Александрович и дружески протянул обе руки стоявшей перед ним Марье Николаевне.

Странными стали его руки: широкие, красные, огрубевшие, они не напоминали теперь его прежних выхоленных рук.

— Ну, что наша больная? — спросила участливо девушка.

— Сознание вернулось совсем... Кажется, теперь опасность миновала, хотя, признаюсь вам, именно сегодня я особенно боюсь за нее...

— А что? — тревожно спросила Марья Николаевна.

— Велела позвать священника... отца Ивана... Зачем, зачем?..

Он передернул плечами. В его голосе слышалась щемящая тоска.

— Исповедоваться?

— Да... Зачем же?.. В чем?..

— Ей легче будет, — тихо сказала Марья Николаевна.

Он отрицательно покачал головой.

— Отец Иван утешений не приносит... не

умеет утешать...

— Нас с вами... а ее... Взгляните, как его любят крестьяне... На их языке говорит он, их понятия у него... Они верят в одно и то же.

Он тяжело вздохнул.

— Убить он может ее своею грубостью... Она еще так слаба...

— Предупредите его...

— Что вы говорите! Разве он меня послушает? С ним я не умею говорить... знаю все его достоинства, удивляюсь его стойкости и не умею с ним объясняться... на разных языках говорим...

Он что-то вспомнил, проводя рукой по лбу.

— Да, кстати... Просила она потом вас прийти к ней...

— Вы ей сказали, что я ходила за ней? — почти с упреком проговорила Марья Николаевна. — Зачем же?.. Я нарочно ушла, когда она стала говорить сознательнее...

— Я ей ничего не говорил, Марья Николаевна, — ответил он. — Она сама пожелала... Не знаю зачем, но... боюсь я... Нужно ли вам идти к ней?..

На его лице отразилась душевная тревога.

Марья Николаевна подняла на него вопрошительные глаза.

— Я же вам все рассказал, — пояснил он. — Вы знаете, что она подозревала меня, вас... ревновала...

Молодая девушка в смущенье смотрела уже в сторону, избегая его пытливого, тревожного взгляда.

— Я боюсь, что она может сказать вам что-нибудь неприятное, обидное, — продолжал он.

— Мне все равно, — тихо ответила она. — Она так несчастна, что... Мне все равно... Я пойду.

Он молча взял ее руки и поднес их к губам. Она не отняла их, не изменилась в лице.

— А дома все та же война? — спросил он. — Война из-за нас...

— Я не обращаю внимания, — ответила Протасова. — Вы знаете, отец дал мне полную свободу давно. Он уверен во мне. А эти сумасшедшие старухи... Что мне они? Мне только досадно, что отца теперь нет здесь. При нем не было бы и этой войны.

— Вы много, много сделали для меня, для

Поли... Без вас я потерял бы голову... Как ни стараюсь я, а все еще не могу вполне закалить себя... барич!..

Она покраснела и переменяла разговор...

С того дня, как Поля бросилась в воду, Марья Николаевна почти безвыходно пребывала в охотничьем домике. Не много было этих дней; но они могли показаться целою вечностью. Полю вытащили из воды в бессознательном состоянии, хотя с очевидными признаками жизни. Вытащил ее кучер Дорофей, водивший лошадей на водопой. Прежде чем люди успели прийти к какому-нибудь заключению, что делать с утопленницей, в охотничий домик вернулись Егор Александрович и доктор. Девушку внесли в дом и тотчас же пришлось послать за акушеркой. Егор Александрович совершенно растерялся и ходил, как во сне, торопя всех и каждого, хватаясь то за ту, то за другую вещь, спрашивая по сто раз доктора, есть ли опасность, не нужно ли чего-нибудь сделать? Потрясение было слишком неожиданно. Когда Мухортову сказали, что Поля, вероятно, выживет, но что ребенок мертв, он не выдержал и разрыдался такими

горькими слезами, как плачут женщины и дети. Когда ему сказали, что приехал становой снять допрос, он чуть не бросился его душировать в порыве бешенства, пробудившегося в нем при первом грубом слове. В эти страшно тяжелые минуты явились около него две личности, одинаково тепло отнесшиеся к нему. Это были Павлик и Марья Николаевна. Первый неумело, как юноша, вторая с чисто женским чутьем и ловкостью услуживали Егору Александровичу, утешали его, помогали в уходе за Полей, лежавшей без сознания. Егор Александрович не благодарил их и пользовался их услугами без возражений, распоряжался ими и посылал их то туда, то сюда; только через три-четыре дня он немного оправился, совладал со своими нервами и почти с ужасом заметил Марье Николаевне:

— Дорогая моя, но что же скажут ваши?.. Что будут говорить вообще соседи? На сплетни-то и у Слытковых ума хватит...

Она махнула рукой и бодро ответила:

— Ну, уж это мое дело!.. О таких глупостях не стоит и говорить в таком положении...

Павлик между тем лукаво улыбнулся.

— Ты, Егораша, сам вытолкал в шею пришедшего за Марьей Николаевной слугу, — сказал он. — Это-то уж, я думаю, весь уезд теперь знает.

— Как? Когда? — спросил Егор Александрович с испугом.

Он ничего не помнил. А между тем он действительно вытолкал слугу Ададуриных, пришедшего справиться, не здесь ли барышня.

— Вот этого еще недоставало, сам скандал сделал! — проговорил он.

— Ничего, Егораша, — сказал Павлик. — Я уже ездил с письмом Марьи Николаевны к ее медузам...

— Милый мальчик! — проговорила Марья Николаевна, потрепав его по щекам. — Я боялась, что они его съедят...

— Я потом поеду, если нужно, сам, — сказал Егор Александрович. — Мне так совестно... И как я сразу ничего не сообразил...

— Нет, ты сообразил, — шутливо заметил Павлик. — Как еще командовал и Марьей Николаевной, и мною, точно нанял нас...

— Простите, мои дорогие! — проговорил Егор Александрович, протягивая им руки.

Он теперь только понял, как много они для него сделали. Припоминая все мелочные подробности этих дней, он изумлялся тому, что делала Марья Николаевна, работавшая и услуживавшая, как простая служанка. Это было полное самозабвение, безусловная готовность служить ближнему. По-видимому, ни на мгновение в ее душе не промелькнула мысль о том, что ей неприлично быть тут, что ей тяжело исполнять обязанности сиделки, что она приносит жертву. Среди общей суматохи ею командовали и распоряжались все, и она покорно делала свое дело, как наемная слуга. Так прошло немало дней. Павлик и Марья Николаевна чередовались, помогая Егору Александровичу. Наконец Поля начала приходить в сознание, ее речи стали осмысленными. Тогда Марья Николаевна сочла нужным удалиться. Больная лежала в полутемной комнате, но Марья Николаевна все же боялась быть узнанной ею. Егор Александрович полусловами, говоря о вероятной причине покушения на самоубийство, намекнул на ревность Поли. Услышав это, Марья Николаевна побледнела, и у нее точно защемило

сердце. До этой минуты она еще ни разу не со- знала ясно, что она действительно любит, безгранично любит Егора Александровича. Теперь вдруг ей стало это яснее дня. Да, он для нее все; кроме него, она не думает ни о ком. Будь это несчастье не с ним — разве она пошла бы сюда? Настолько-то и у нее было боязни перед людскими толками, чтобы не проводить ночей около больной любовницы молодого человека в его доме. Ведь это не то, что ходить за синишкой Марфуши. Но для него, для Егора Александровича, она готова на все. Он ей дороже всего на свете. Теперь она поняла это, теперь она готова бы признаться в этом перед целым светом. Но как же: ведь он почти женат? Что же такое? Разве она не сумеет найти в себе столько сил, чтобы не нарушить его счастья? Поле лучше, и она, Марья Николаевна, может теперь уйти. Она еще зайдет справиться несколько раз, как поправляется больная, а потом — потом простится она с ним навсегда, навсегда, навсегда...

Павлику, провожавшему Марью Николаевну по обыкновению и на этот раз до дому, по-

казалось, что она плачет. Было совсем темно, но он все же видел, что она подносила несколько раз платок к глазам.

— Марья Николаевна, — осторожно окликнул он ее, — вы плачете!

— Ничего, голубчик, ничего, — ответила она детским голосом. — Это я так... это пройдет...

Он бросился поближе к ней и взял ее с участием за руки.

— Вы его любите, Марья Николаевна? — спросил он тихо, с любопытством и добродушием юноши, чувствуящего уже волнение в груди даже при чужом признании в любви.

— Не надо, Павлик, не надо! — ответила она пугливо.

— Я не скажу, Марья Николаевна. Ей-богу, не скажу! Ни ему, никому, никому. За кого же вы меня считаете?

Он сам чуть не плакал, стараясь уверить ее, что он достоин доверия. Она еще колебалась.

— Побожись, Павлик!

— Ей-богу! Ведь это же подло, чужие тайны выдавать! Я никогда, никогда!

Она порывисто и крепко сжала ему руку.

— Люблю! — прошептала она.

— Бедная вы моя, бедная! — с серьезностью и с участием произнес он.

— Только ты никому, никому! Ради Христа! — торопливо заговорила она убедительным тоном. — Я тебе сказала, потому что ты мне все равно, как брату.

— Я ваш друг, Марья Николаевна, — с достоинством сказал он.

— Ну, да, друг! Вот я и сказала! Мне некому сказать больше. Я одна, Павлик! У меня только ты и есть. Я тебя люблю больше Зины и Любы.

— Ну, что они!

— Нет, нет, они хорошие девушки... Но ты... ты ближе мне...

Он опять сжал ее руку совсем по-товарищески так крепко, что она чуть не вскрикнула. Ему хотелось, чтобы она вполне поняла, как глубоки и искренни его чувства.

К Егору Александровичу, еще беседовавшему с Марьей Николаевной, на террасу вышел Прокофий. Старик тоже осунулся и подряхлел за последнее время. Несчастье так сильно подействовало на него, что он даже не пил в последние дни. Он пришел доложить барину, что пришел отец Иван. Егор Александрович изменился в лице. Он поспешно поднялся со ступеней террасы и прошел в комнату.

В гостиной стоял отец Иван, по обыкновению суровый и мрачный. Какое-то тяжелое, гнетущее чувство охватило Егора Александровича при виде этого беспощадного человека. Ему вспомнилась Поля, больная, слабая, бессильная, нуждающаяся в поддержке и утешении, и ему стало страшно при мысли о том, как отнесется к ней отец Иван.

— Хороших дел наделал! — с обычной грубостью проговорил старик, глядя угрюмо на Мухортова.

— Больная желает исповедаться, — отвечал Егор Александрович, не возражая, не

оправдываясь.

— Говорили... Живы да здоровы, так в церковь не заглянут: бог не нужен... Придет смерть, так каяться спохватятся...

Егор Александрович сухо и холодно указал священнику на дверь к больной.

— Вот сюда! — сказал он.

Отец Иван окинул его враждебным взглядом.

— Сам-то когда каяться будешь? — спросил он.

— Я вас, батюшка, не для себя звал, — ответил тем же холодным и сухим тоном Мухортов.

— Где уж нам таких-то, как ты, исповедовать, — сказал старик. — Умней отцов стали! Твой-то отец душу мне всю раскрывал...

Мухортов стиснул зубы, чтобы не сказать какой-нибудь резкой фразы. Он молча открыл дверь в комнату Поли и пропустил отца Ивана...

— Батюшка! — раздался из глубины комнаты болезненный крик.

В глубине этой темной комнаты, на постели, едва озаренной светом лампы и при-

крытой очень темным абажуром лампы, приподнялась исхудалая женская фигура вся в белом и закрыла лицо руками. Егор Александрович торопливо затворил дверь и в каком-то невольном ужасе закрыл руками уши, точно боясь услышать хоть одно слово дальнейшего разговора...

— Что «батюшка»? Что лицо-то закрыла? Видно, смотреть-то на людей стыдно? — резко спросил отец Иван, подходя к больной.

— Грешница я, грешница великая! — застонала больная.

— Знаю, знаю! Зачем бы и за мной посылать, если бы не грешница была! Вы ведь все так: сперва душу-то погубите, а потом — отпущай вам грехи! Твои-то грехи каковы? Думала ли ты об этом? До чего довело тебя твое окаянство? Душу свою погубить захотела, младенца неповинного погубила, навсегда погубила! Исповедать-то тебя не стоило бы. Да, не стоило бы! Я идти не хотел. Не стоишь!

В комнате пронесся снова тяжелый, мучительный стон. Поля с ужасом глядела на мрачное, исхудалое лицо старика с ввалившимися глазами.

— Что смотришь? Не смютреть надо, а в слезах биться. Ты думаешь, я из жалости пришел к тебе? Нет. Не стоишь, чтоб тебя жалели! За что жалеть, душегубка? Перст божий я увидел! Он, отец наш небесный, в неисчерпаемой своей благодати спас тебя, чтобы ты образумилась, чтобы всей жизнью, каждым помышлением грех свой великий искупила. Вот почему я пришел.

Старческое лицо его смотрело все так же беспощадно на бившуюся перед ним в бесильных слезах женщину.

— Ты как жила? Похотям своим предалась, только им и служила, дьяволу служила? Ради них ты на все бы пошла, на грабеж, на убийство пошла бы.

— Батюшка! — опять простонала молящим голосом Поля, точно прося пощады, освобождения от инквизиторской пытки.

— Что «батюшка»? — опять повторил отец Иван. — Неправду, что ли, я говорю? На что бы ты не решилась, если пошла на убийство своего младенца? Чем! он виноват был? А ты и его убила. Волчица своего волчонка защищает, а ты — ты хуже волчицы, потому ты не

защищала свое дитя, а убила его. Да!

Поля опять простонала. Отец Иван продолжал все тем же тоном:

— Вот ты жива осталась. Жить будешь. Что ж, опять дьяволу служить станешь? Ведь теперь свободна! Или опять руки на себя наложишь? Так знай, горе тому, кто искушает терпение господне! Он долготерпелив и многомилостив, но есть пределы и его терпению, и его милосердию.

И вдруг, оборвав строгую речь, он отрывисто, коротко и сухо проговорил:

— Кайся!

Едва переводя дух, прерывающимся от слез голосом начала исповедаться больная. Это было не простое сознание в своих грехах, — это было болезненное, надрывающее душу самобичевание. Слушая эту исповедь, можно было подумать, что в этой душе не было ничего, кроме грехов, грехов и грехов. Она, Поля, о боге забыла и в церковь даже не заглядывала в последнее время. Она никого не любила, ни о ком не заботилась и только тешила себя любовью. Она сама навела на грех молодого барина, и когда он каялся, она успо-

каивала его сама, говоря, что этот грех ничего не значит. Его, чистого и доброго, влекла она за собою в пропасть. Ребенок у нее бился под сердцем, так она его чуть не ненавидела за то, что он служил ей помехой, за то, что она боялась, как бы из-за этого ее не разлюбил барин. Точно Егор Александрович мог бросить человека, мог обидеть его! Добр он, границ нет его доброте, а она его бог знает в чем подозревала. Барышня тут добрая, честная была, так она, Поля, и ее чернила, в душе проклинала — убить, кажется, рада была, потому что ревность в ее душе была. Подозревала она, что барин видится тайком с барышней, что он жениться на ней хочет. Он-то, такой честный! Да он никогда никого не обманет, не обидит. Она же его подозревала. А сама все умышляла убить себя из злобы, из ревности...

— Просвет-то где, живое место-то где в твоей душе? — проговорил отец Иван.

Поля подняла на старика полные слез глаза.

— И вдруг увидала я, что честною и доброю была эта девушка, что у ног ее недостойна я лежать, что стою я у нее на дороге со все-

ми своими грехами... со всем своим окаян-
ством...

Ее голос совсем; оборвался.

— И наложила я на себя руки, потому что дурная трава и из поля вон, — тихо закончила она.

Отец Иван покачал головой.

— И о ребенке забыла?

Поля тихо плакала, ничего уже не отвечая.

— Ну, что же дальше? — спросил отец Иван.

Она недоумевающим, растерянным взглядом смотрела на него. Больше ей нечего было говорить. Она все сказала.

— Что же, говорю, дальше-то делать будешь? — пояснил он.

Она поняла теперь вопрос и торопливо ответила:

— Замаливать... грехи... в монастырь!..

Он пристально всматривался в ее лицо. Его глаза смотрели, мрачно из-под нависших, включенных бровей. Прошла минута в молчании. Затем он заговорил более мягко, насколько умел.

— Это перст божий! Но помни это и всю ду-

пу свою положи на то, чтобы быть достойной милосердия божия. Не на тунеядство, не на распутство, не на ублажение своей плоти иди в монастырь, а на подвижничество монашеское. Слышишь? В поте лица работай, молись до истощения сил, смирайся перед людьми, нищей будь, и тогда отпустится тебе грех твой. Всею жизнью только его замолить можно.

Он поднялся во весь рост, чтобы прочитать молитву и прикрыл епитрахилью почти скатившуюся с подушек голову...

Выйдя из комнаты Поли, отец Иван встретил Егора Александровича перед самым выходом из дома, Мухортов подал священнику деньги. Тот как-то странно взглянул на него, точно он видел его впервые. Отзывы Поли о Егоре Александровиче как о чистом, добром и честном человеке поразили отца Ивана, и в его голове эти отзывы никак не мирились с тем, как держал себя Егор Александрович с ним. Они простились так же сухо и холодно, как встретились. Когда за отцом Иваном закрылась дверь, Егор Александрович вздохнул полным вздохом.

III

Егор Александрович пошел к Поле; она лежала, как мертвая, неподвижно, с полуоткрытыми глазами. Он подошел к ней и испугался: ему показалось, что она умирает. Он осторожно наклонился к ней и назвал ее по имени. Она устало открыла глаза.

— А, это вы! — прошептала она.

— Тебе хуже, Поля? — спросил он.

— Нет, лучше... сказал: простится! — ответила она и опять закрыла глаза.

Ее губы тихо шептали, точно она в полусне что-то припоминала вслух.

— Молись и простится... простится!.. Страшный грех совершила, окаянная!..

— Поля, успокойся, — тихо сказал Егор Александрович, ласково дотрогиваясь до ее руки.

Она открыла глаза и как-то боязливо отняла руку.

— Я в монастырь пойду... Я теперь, Егор Александрович, в миру не буду жить, — сказала она, качая слегка на подушке головой и как бы желая выяснить, что она умерла для

него, для его ласк.

— Думай о поправлении здоровья и ни о чем больше, — проговорил он. — Ты еще не оправилась, потому и идут в голову такие мысли.

— Нет, грех совершила великий! Каяться нужно, у бога и у людей прощенье вымолить, — ответила она глухо и, вдруг что-то вспомнив, добавила: — Марью Николаевну мне...

— Ты лучше отдохни...

— А умру? — тревожно сказала она, и ее глаза расширились от страха. — Умру непощенная!.. У всех прощенья надо просить... у всех... Позовите...

Он со вздохом вышел из комнаты.

— Идите к ней, мой друг, — сказал он Марье Николаевне.

На нем лица не было.

— Ей хуже? — спросила Марья Николаевна.

Он махнул рукой.

— Толкует о монастыре! — ответил он коротко.

— Что вы? Это отец Иван натолковал! Надо

отговорить...

Он ничего не ответил и только повторил снова:

— Идите к ней!

Марья Николаевна вошла в комнату Поли. У нее страшно билось сердце. Она почти боялась свидания с этой девушкой. Невольно она была причиной несчастья этого бедного создания. Заслышав в комнате шаги, Поля открыла глаза, — они, ввалившиеся, большие, открылись широко, и на минуту в них вспыхнул огонь. Марье Николаевне показалось, что в этом взгляде были и ненависть, и злоба, и ужас. Но это была только минута; они вновь потухли, личные мускулы больной стали вздрагивать, грудь порывисто поднималась, руки закрыли лицо, и, свернув голову набок, больная глухо зарыдала:

— Грешница... все еще грешница!.. Господи, подкрепи... Простите меня, окаянную, — шептала она прерывающимся голосом.

Марья Николаевна склонилась над ней и в слезах начала говорить бессвязно слова утешения. Больная стала мало-помалу успокаиваться. Она тихо взяла руку Марьи Николаев-

ны и поднесла к губам.

— Себя хотела загубить, дитя загубила, его, вас всех... — шептала она.

Марья Николаевна наклонилась еще ближе к ней и поцеловала ее.

— Пусть он не приходит, — тихо сказала Поля. — Не могу... не могу смотреть... Ох, тяжело от грехов освободиться...

— Полноте, Поля! Отчего же его вы не хотите видеть?

Поля опять открыла глаза со страхом и недоумением, точно удивляясь, что ее не понимают.

— Я теперь... не о мирском мне думать нужно... А он придет... не могу, не могу! Мне молиться надо, грех замаливать, а не грешить... Бога я при нем забываю!

Она опять откинулась навзничь головою и закрыла глаза, как бы впадая в забытие. Но ее губы продолжали шептать:

— И всегда так, и прежде, и теперь... Не любовь, а наваждение... без божьего благословения... Любила и мучила, и мучилась... Уйти бы скорей... Освобожу... освобожу... А любить никто не будет так... никто!

Она тяжело вздохнула и смолкла.

Марья Николаевна присела на стул у постели, забывшись и всматриваясь в больную. Теперь это исхудалое лицо с ввалившимися глазами, с бледными губами, с осунувшимися щеками, вздрагивавшее за несколько минут от рыданий, было невозмутимо спокойно и блаженно улыбалось, точно больной снился сладкий сон любви. Ее дыхание было очень слабо, но ровно; утомленная волнениями этого утра, она теперь крепко спала.

Когда Протасова очнулась от тяжелых дум, ее лицо было влажно от слез и серьезно. Впервые в этот день у этой постели она передумала многое о любви, передумала глубоко и серьезно, смотря на эту несчастную жертву необузданной, неосмысленной страсти. «Бога забыла для него», звучали в ее ушах слова Поли. Ей стало жутко. Неужели и она любит его такую же любовью? Неужели и она для него забудет бога — бога правды, добра, справедливости, чести, любви к ближним? Но разве он этого когда-нибудь потребует? Разве он может этого потребовать? Нет, нет, никогда!.. Он честный и добрый человек, он может вести

ближнего только к добру и правде! Поля тихо вздохнула во сне. Марья Николаевна вздрогнула, и ее охватило тяжелое чувство, точно ее кто-то уличил в чем-то постыдном. «У постели умирающей думаю об отнятии у нее любимого ею человека, всего, что ей дорого в жизни», пронеслось в ее голове. «И умирает, быть может, только от того, что я стала на ее дороге», с горечью продолжала она думать. Сколько бессознательного эгоизма, сколько легкомыслия было в ее поведении. Ей вспомнились все мелочи ее недавнего прошлого: ее постоянные посещения Егора Александровича, просиживание с ним до ночи, прогулки с ним. Как должна была терзаться Поля в эти минуты. У нее ведь не было в жизни ничего: ни друзей, ни богатства, ни бога, ничего, кроме одного любимого человека. И его-то отнимала, вырывала у нее из рук она, Марья Николаевна, неумышленно, бессознательно, — но разве это было не все равно для бедной девушки?.. А он? Неужели он не понимал этого? Зачем он не предупредил ее, Марью Николаевну? Или он, как мужчина, не замечал ничего, что делалось в простом женском сердце?..

Где-то пробили часы и напомнили Протасовой, что ей пора идти.

Она устало поднялась с места. Она была бледна и серьезна, когда вышла из спальни Поля в гостиную, где Егор Александрович задумчиво ходил взад и вперед по комнате. Увидав Марью Николаевну, он остановился.

— Что?

— Уснула!

На мгновенье оба смолкли.

— Много она перестрадала, — тихо сказала Марья Николаевна.

Он сдвинул брови, ничего не ответил ей. Она заторопилась, отыскивая свою верхнюю одежду.

— Вы уходите? — спросил он.

— Да. Пора!.. Да, кстати, нужно вам сказать, — начала Марья Николаевна и вдруг остановилась.

— Что? — спросил он.

— Забыла... Ах, какая память!.. Ну, потом! — ответила она в замешательстве.

Ей хотелось передать, что Поля просила его не заходить к ней, но при одной мысли об этом на ее щеках выступил румянец. Ей стало

стыдно, точно она хотела передать ему не желание Поли, а свое желание — желание отстранить его от умирающей. В невольном, плохо замаскированном смущении Протасова наскоро протянула ему руку. Он хотел ее спросить, когда она придет, но, вместо этого вопроса, проговорил:

— Спасибо вам за все последние дни!.. Я этого никогда не забуду...

Она пробормотала в ответ что-то неясное, сбивчивое.

Они пожали друг другу руки и простились, как почему-то показалось обоим, надолго, может быть, навсегда...

Десятая глава

I

В жизни бывают дни, недели, месяцы, стоящие многих и многих лет. Они похожи на страшные бури во время путешествия по морю. Вы совершаете морское путешествие, дни сменяются днями, ничем не отмеченные, однообразные, продолжительные и, все-таки, забываемые бесследно, не оставляющие в душе ничего; но вот начинается буря, все приходит в смятение, раздается вой и свист в мачтах, холодные брызги разбивающихся о бок корабля волн обдают палубу, где-то слышится треск, точно судно расходится в пазах, кого-то снесло в море налетевшей волной, каждая минута грозит смертью, и вы, объятые страхом, переживаете в эти минуты целые годы, готовясь к смерти. Если не все молятся в эти минуты, то едва ли кто-нибудь в эти минуты не останавливается в страхе перед вопросами о прошлом и о будущем; в несколько мгновений переживаются душою целые годы. Такие

дни пережил Егор Александрович во время болезни и выздоровления Поли. Он не анализировал, не мог анализировать своих чувств к ней; он не спрашивал себя, насколько он ее любит, насколько любил ее, насколько дорожит ею. Он просто видел перед собою глухие страдания существа, которое его страстно любит: эти ввалившиеся глаза следили за ним еще недавно с таким обожанием, эти сухие, синеющие губы шептали ему чуть не вчера слова беспредельной любви, эти исхудалые руки ласкали его чуть еще не накануне, обвиняясь вокруг его шеи. И он за все это не дал, не мог ей ничего дать, кроме несчастья. И если бы хоть упрек сорвался с ее губ, он пробудил бы, может быть, реакцию в душевном настроении, вызвал бы желание оправдаться, защититься, высказать свои обвинения. Но она лежала перед ним с полупотухшими, кроткими глазами, как подстреленная им птица. Эти глаза выражали не жалобу, не упрек; они просто говорили: «Ну, вот видишь, я и умираю!» Это сравнение Поли с подстреленной птицей не выходило из его головы, проносилось в уме не мыслью, а образом, до-

водило чуть не до слез.

— Поля, милая, тебе лучше? — говорил он мягким голосом на другой день после исповеди.

— Лучше! — прошептала она бесстрастно.

Он взял ее руку и хотел поднести ее к своим губам. Она слабо отдернула ее.

— Не надо, Егор Александрович!.. — сказала она. — Не надо!

В ее голосе было что-то такое, точно она хотела защититься, просила пощады. Это был тон измучившейся в пытке страдальницы, чувствующей, что вот-вот сейчас коснутся до ее еще не заживших ран.

— Все теперь кончено, — проговорила она. — Все!.. Грех великий я совершила... Теперь каяться должна, молиться должна...

— Не мучай ты себя этим! Вот выздоровеешь, все пойдет по-старому...

— Нет, нет! Что вы! Что вы! — с испугом, с ужасом проговорила она. — А бог-то? Бог?

— Он же видит твою душу, он...

Она перебила его опять почти с ужасом, широко раскрыв мутные глаза:

— Да, видит мою душу!.. Окаянная я, грех

совершила, неискупимый грех, каяться должна, а я... Не о грехе думаю, о любви своей думаю!.. Господи, и тяжело же мне, сердце рывается!..

Она закрыла лицо руками.

— Уж лучше бы вы меня бросили, прогнали!..

— Поля!

— Да, да, пошла бы я, брошенная, проклятая, а теперь...

Она обратила к нему молящий взор...

— Голубчик, родной, уйдите, уйдите вы от меня!.. Не вольна я в себе... сил у меня нет... Смотрю на вас — и нет бога во мне, думаю о вас — и грех забыт, и покаяния нет!.. Убить, убить бы меня мало за мое окаянство!.. А бог все видит!..

Он поднялся с места.

— Вы на меня не сердитесь! Не от злобы я гоню вас... Видит бог, нет!.. Душу, душу свою я спасти должна!

Она протянула свою руку, чтобы взять его руку, и тотчас же опустила ее, испуганно заметив ему:

— Нет, нет, не надо... Идите!..

Она, как и отец Иван, понимала только бога-судию, бога-мстителя.

Он вышел из ее спальни подавленный, растерянный, не зная, что делать, чего желать. Он сознавал, что какая-то пропасть открывается между ним и этой девушкой: он не поймет ее, она не поймет его. «Уехать бы, бежать бы отсюда», мелькало в его голове, а другой голос подсказывал ему: «И дать ей умереть в обществе грубой, полупьяной дворни?» Нет, нужно было остаться до конца здесь, у постели этой больной, покорно ожидая, к какому исходу приведет судьба. Бежать легко, трудно было остаться, — значит нужно было остаться; нужно было пережить и это испытание. Он брался за книги, разворачивал их и по целому часу читал одну и ту же страницу, ничего не понимая.

— Господи, вас-то я за что мучу, — говорила Поля, когда он заходил к ней.

— Чем же ты меня мучишь? — отвечал Егор Александрович. — Ведь я все равно здесь бы жил и без тебя. Я работаю.

— Исхудали! Краше в гроб кладут! Все из-за меня, все из-за меня!

Он спешил переменить разговор...

Это повторялось каждый день, при каждом посещении им ее спальни...

В один из ясных октябрьских дней он, сидя в гостиной, слышал скрип двери из комнаты Поли. Он обернулся. В дверях, держась за косяк, стояла Поля. Он вскочил с места.

— Вот и я...поправилась, — сказала она обрывающимся голосом, сиюсь улыбнуться обтянувшимися губами.

Она точно встала из гроба, худая, бледная, вся в белом.

— Голубка, можно ли так рисковать! Ты еще очень слаба!

— Нет, я поправилась!.. Теперь... в монастырь похлопочите, чтобы приняли... Я совсем оправилась... Пора!

Она сделала несколько шагов от двери, спотыкаясь, шатаясь, бессознательно протягивая руки, чтобы ухватиться за что-нибудь. Он поспешил к ней, видя, что под нею подламываются ноги. Почти рыдая, она опустилась к нему на руки.

— Не могу, не могу! — воскликнула она надрывающимся голосом. — Ах, я несчастная,

несчастливая!.. Истерзаю я, измучу вас в конце. Хоть бы умереть!..

У нее повисли руки, голова опустилась на грудь. Он отнес ее как ребенка в спальню и положил на постель. Она полузакрыла бледные глаза и снова лежала перед ним с выражением подстреленной птицы. Ее нельзя было ни утешать, ни ласкать, ни журить. Нужно было молча ждать неведомого конца...

II

Все выносящая, сильная молодость взяла, наконец, свое: Поля оправилась совершенно. Она была худа, бледна, но уже здорова, вне всякой опасности. Доктор объявил, что его визиты вовсе не нужны в охотничьем домике. Но чем больше крепили молодые силы выздоравливающей, тем сильнее, тем мучительнее становилась в ее душе борьба противоположных чувств, желаний и мыслей. Разобраться в своем душевном хаосе она никак не могла. Она походила на ребенка, плачущего и от приступов боли, и от подносимого ему лекарства, долженствующего унять эти боли. Ежедневно она заводила со слезами разговор

о своем грехе, о необходимости спасти душу, об отправлении в монастырь и в то же время с теми же слезами говорила, как это ей тяжело, как сил у нее нет бросить Егора Александровича, как она его любит. Ей то грезился страшный образ разгневанного, мстящего за грехи бога, то снилось ясное, полное ласки и всепрощения лицо любимого ею человека. Она мучительно колебалась, под чью защиту укрыться ей. Это была пытка, которую должен был выносить Егор Александрович изо дня в день. Наконец, он остановился над вопросом; долго ли это будет продолжаться?

Его уже давно тянуло в Петербург, к работе, к кружку людей, так или иначе вращающихся в водовороте общественной деятельности, в центре умственной жизни. Ему хотелось найти и занять в этой деятельности место по своим силам и способностям. Он знал, что подходящее дело найдется не сразу, что нужно многое сообразить, ко многому приглядеться; чтобы избрать труд по сердцу, чтоб не метаться потом в разные стороны. Это сделать можно было только там, в Петербурге, где можно и выбрать род деятельности,

и найти средства для подготовки к ней. Остаться здесь для того, чтобы убивать полупраздно время, слушая вечные жалобы и стоны, он уже считал просто постыдным малодушием. Присматриваясь к Поле, он стал находить в ней много черт характера, общих с чертами характера его матери: она также как бы втянулась в роль страдающей героини; она также плакала и жаловалась, не делая ни шагу для устранения причин этих слез и жалоб; она также думала только о себе и ни о ком другом; в последнее время она даже перестала повторять старую фразу о том, что она мучит его, Егора Александровича. Анализируя свои чувства к ней, он с горечью убеждался, что в нем порвалось все, связывавшее его с ней: ему было даже не жаль ее. Это вдруг совершенно неожиданно прорвалось наружу, сделалось ясным и для него, и для нее и привело разом к развязке. Как-то рано утром за чаем она опять заговорила о монастыре.

— Так ты окончательно решила идти в монастырь? — спросил он.

— Ох, тяжело мне, тяжело молодость свою схоронить в четырех стенах, точно в моги-

ле! — воскликнула она.

— В таком случае не ходи, — ответил он. — Твоя жизнь еще впереди. Ты молода, можешь подучиться, начать работать.

Она посмотрела на него с удивлением широко открытыми глазами.

— Как работать? — спросила она.

— Ну, мало ли есть дела! — ответил он. — В твои годы подготовиться ко всему можно: сельской учительницей можно сделаться, швеей, фельдшерицей, мало ли чем. Стоит только засесть за ученье, Поля, и не увидишь, как научишься всему, чему захочешь.

— Значит, как-никак, а надоела я вам, бросить хотите! — тихо, глухим голосом прошептала она и стала отирать слезы.

— С чего же это ты взяла? — спросил он сдержанно и спокойно.

— Что ж, уж если на работу посылаете! — с горечью произнесла она. — Это уж последнее дело!..

— А! — проговорил он с усмешкой. — А как же ты думаешь иначе жить, если не работать? Ведь я и сам буду работать. Жить-то на что-нибудь надо? Довольно мы поели чужого

хлеба...

— Уж хоть куском хлеба не попрекайте меня, Егор Александрович, — с обидой заметила она.

— Я тебя и не попрекаю, — ответил он сухо, сознавая вполне, что они говорят на разных языках, не понимают друг друга. — Я говорю о себе...

И еще более сухим, еще более твердым тоном он прибавил:

— Ты теперь совсем здорова, и потому нам пора покончить с вечным нытьем и слезами.

— Надоела я вам, гоните, — захныкала она. Но он коротко и резко проговорил:

— Перестань!

Она вдруг опустила руки и широко открытыми, испуганными глазами взглянула на него. Она увидела на его лице выражение беспощадной твердости, непреклонной воли. Он поднялся с места и заходил по комнате, начав говорить сдержанно, ясно и отчетливо; тон его слов был сух и черств.

— Я давно хотел с тобой поговорить серьезно, но ты была больна и слаба, и я жалел тебя. Теперь ты здорова, и потому я могу гово-

рить с тобою. Каждый день ты плачешь и сто-
нешь о своем положении. Тебя мучит грех, ты
считаешь нужным каяться за него в монасты-
ре. Но ты не идешь в монастырь. Ты плачешь,
что это тебе не под силу, что ты не можешь
бросить меня и остаешься здесь, — остаешься
только затем, чтобы опять плакать и гово-
рить о необходимости каяться. Так жить
нельзя.

— Голубчик, не могу я! — рыдающим голо-
сом воскликнула она.

Он остановился.

— Я тебе говорю, не плачь и выслушай! —
коротко и повелительно сказал он.

Она опять испуганно смолкла.

— Так жить нельзя, говорю я, — продол-
жал он, снова заходя в комнату. — Ты гово-
ришь, что ты любишь меня, но если бы ты
точно любила меня, ты не плакала бы, не жа-
ловалась бы с утра до ночи, муча меня. На
днях я решил уехать в Петербург, и ты
должна обдумать, что тебе делать. Ты мо-
жешь идти в монастырь, я заплачу за келью,
за все; ты можешь остаться здесь, я дам тебе,
сколько могу, чтобы ты жила здесь, не нужда-

сь; ты можешь ехать со мною в Петербург...

— Где уж мне ехать с вами, если разлюбили! — воскликнула она.

— О, это от тебя зависит, чтобы я тебя любил, — сказал он. — Я в Петербурге примусь за работу. Чем я сделаюсь — я сам не знаю. Учителем, писателем, рабочим или примусь за такое дело, о котором ты и понятия не имеешь, — это для тебя все равно. Дело не в этом, а в том, что я буду зарабатывать кусок хлеба трудом. Чтобы жить со мною, ты должна будешь тоже работать. Я дам тебе возможность подготовиться к труду, развиться. Это будет не легко для тебя, но только так можешь ты жить со мною. Так же жить, как мы живем теперь, нельзя. Это не жизнь, а каторга.

Она поднялась с места. Ее глаза блестели сухим блеском, черты лица исказились почти ненавистью. Ее голос зазвучал горечью.

— Нет уж, Егор Александрович, где мне так-то жить, как вы говорите: так умные люди живут! А тоже жить да от дорогого человека попреки слушать — это не сладко. Кусок хлеба и тот припомнили, на счет поставили. Лучше уж в монастыре свой век скоротать,

грех свой отмаливая.

Он коротко, не сердясь, не волнуясь ответил:

— Как знаешь, это твоя воля!

Она почти со злобой взглянула на него.

— Моя воля, моя воля! — вскричала она запальчиво. — Уж не издевались бы хоть надо мной, если надоела! Не месяц, не два так жили, а теперь вдруг нельзя стало так жить. И то сказать, красота отцвела, на что же я нужна. Или другие нашлись, так...

Он не выдержал, остановился и гневно крикнул:

— Молчи и ступай!

Она вскрикнула и бросилась к его ногам, ловя его руки, полы его одежды, хватая его за ноги.

— Бейте меня, ногами топчите, только не говорите так! — рыдала она, пресмыкаясь у его ног. — Я пойду в монастырь, слезинки не пророню, ни словечка против вас не скажу, только... Не говорите мне, не говорите, что опостылела, что разлюбили... Я виновата, я виновата... во всем, во всем, глупая, безумная, окаянная!..

Он тихо освободился от нее и холодно проговорил:

— Послезавтра я тебя отвезу...

Он вышел из комнаты, она осталась на полу, с повисшими, как плети, руками, с растерянным взглядом. Для нее все было кончено. Она это понимала ясно. Ее взгляд как-то машинально устремился к висевшему в переднем углу образу и стал расширяться, точно перед ним выплывало страшное видение. В этом взгляде вдруг отразилось выражение тупого ужаса.

— Господи, за грехи наказуешь, за грехи, — медленно шептали ее уста, и ее голос был глух и хрипл от душивших ее чувств... — Всею жизнью не замолю, всеми слезами не смою грехов своих. Тебя для него позабыла, дьяволу опять служить хотела! Карай меня, карай, окаянную! Там-то, там-то геенна огненная... муки вечные... скрежет зубовой... Нет, иду, иду!.. В слезах биться буду!..

Она с трудом, медленно поднялась с пола и с тем же тупым выражением ужаса, все еще смотря в передний угол на образ, побрела в свою комнату укладывать свои вещи.

III

В эти тяжелые дни Егор Александрович много ходил, много занимался физическим трудом. Книги не читались, умственная работа не клеилась, спасали только моцион, движение, физическое утомление. Мухортов ежедневно проводил на прогулке несколько часов. Его теперь тянуло не к живым, а к мертвым. Живых он не понял бы все равно; ему нужно было быть одному, в тишине, в царстве сна и успокоения; только в полном одиночестве, в полном затишье он мог сосредоточиться на вопросах, далеких от мелких раздражающих домашних сцен. Он точно бессознательно пробирался ежедневно на кладбище, бродил среди могил, читал имена схороненных мужиков и баб, задумывался о жизни этих людей и точно отрезвился, сравнивая вековечное горе народное с своей случайной бедой: она пройдет не сегодня, так завтра, а оно — когда выльется до дна эта чаша страданий ни в чем не повинной многомиллионной массы?.. Задумываясь о народе, он снова писал в своем дневнике:

«Нет, не столетний лес пробуждает во мне горечь, уныние, злобу на человеческое бессилие. Этот лес был насажден, был выращен моими предками; я мог заставить в несколько дней срубить под корень этого гиганта. Положение народа, этих несметных масс, вот что мучит и терзает душу. Где пути, где силы, чтобы поднять положение народа, чтобы дать место ему на пиру жизни? Только думая об этом, я прихожу в отчаяние, прихожу в бешенство за свою, за человеческую слабость. Недавно я читал описание Египта, описание пирамид. Ученые изумляются, как могли возникнуть среди песчаных пустынь эти гигантские памятники причудливых вымыслов человеческого гения. Кто же создал эти чудеса, кто воздвиг эти здания? Их строили рабы, полунагие, босоногие, голодные, погоняемые, как скот, бичами. Повинуясь чужой воле, они воздвигли эти колоссальные постройки. Но что же они сделали для себя, для своей участи, для своего освобождения? Ничего, ничего! Где же та сила, которая принудила бы, побудила бы их работать для своего личного благополучия, как бич побуждал и принуж-

дал их исполнять чужие прихоти, чужие капризы?..»

Стояла поздняя, глубокая, но изумительно ясная и сухая осень. Снег, выпавший было в октябре, в ноябре снова исчез почти бесследно, и везде было сухо. Все деревья уже давно сбросили листья, и только на некоторых отдельных ветках и кустах еще трепетали, свернувшись от холода и засыхая, последние одинокие, совершенно темные, мертвые листья, которых ни бури, ни дожди, ни мороз не смогли оторвать от родимых стеблей. Целыми грудками лежали такие же высохшие листья на тропинках и насыпях деревенского кладбища, превратившись из зеленых в темно-коричневые и черные; среди этих груд только изредка выглядывали еще яркие желтые и красные цвета. Невозмутимую тишину в этом царстве мертвых нарушал только их печальный, сухой шелест при малейшем дуновении свежего ветра, приподнимавшего их с земли и сгонявшего в одну кучу. Солнце — не ослепляющее, не обжигающее солнце лета, а мягко светящее, едва пригревающее солнце осени — разливало свой свет сквозь голые ветви

деревьев по всей этой обители смерти, точно сквозь сложную железную решетку. Егор Александрович одиноко пробирался между могил по покрытым листвою тропинкам, проходя на край кладбища к маленькому бугорку, где зарыли его ребенка. Дойдя до этой темно-бурой насыпи, он постоял над нею и потом присел на ближайшей могиле на полусгнившую доску. Он был спокоен. В его душе не было бесплодных упреков совести, в ней была только тихая грусть о том, кто мог бы жить, мог бы, может быть, быть счастливым. И у него, у Егора Александровича, была бы тогда, быть может, прямая личная цель в жизни, нежные заботы о слабом, еще беспомощном существе. У него было бы кого любить. А теперь? Он опять останется один — вполне один, свободный от всяких обязательств, от всяких пут, — свободный, как ветер в поле, более свободный, чем он был до встречи с Полей. Кажется, эта встреча произошла так недавно, но как он изменился в это короткое время! Это было полное перерождение, или, вернее сказать, в это время окрепло, сложилось в нечто определенное и цельное все то,

что прежде было только брожением, зародышами в его душе. Когда люди идут впервые на войну, они не могут вперед определить, насколько они будут храбры. Когда он ехал сюда, он не знал, как он отнесется к своему положению, как и что вынесет, к каким выводам и результатам придет. В душе бродило многое, но определенного, выяснившегося не было в ней ничего. Теперь он ясно с радостным чувством сознавал, что он порвал навсегда с своим прошлым — с прошлым бари-ча-белоручки, с прошлым светского человека, с прошлым прожигателя жизни, — и должен был вступить в ту трудящуюся, добывающую потом и кровью кусок хлеба среду, которая с гордостью может сказать, что на ее хлебе нет ни слез, ни проклятий ближних. Он готовился вступить на новый путь с твердой верой в свои силы, с гордым сознанием, что он не пойдет ни на какие сделки со своей совестью. Его отца всю жизнь называли солдатом, и генеральша морщилась, когда ее мужу ежедневно подавали на обед только щи и кашу, когда он спал на походной кровати, прикрытый старым походным пальто. Егор Алексан-

дрович сознавал себя сыном своего отца. Да, он всегда хотел бы быть таким простым, выносливым солдатом; теперь он с радостью видел, что он может быть таким солдатом. При этой мысли на его лицо набежала тень. Генеральша всегда называла своего мужа бессердечным человеком. Не называет ли так же и его Поля? Что ж, пускай! Иначе он не мог поступить, продолжать этой жизни — жизни для одной этой девушки — он не мог. Его манит иная жизнь, и он только жаждет одного: прожить эту жизнь страстно, тревожно, бурно, но безупречно, посвятив ее по мере сил на пользу ближних. Он ощущал в себе неистощимый запас этих сил. В нем была теперь чисто юношеская вера в себя, доходящая до фанатизма жажда отдать себя всецело делу. Какому? О, разве мало дела в жизни? Он сознавал, что он способен идти тысячами путей к благой цели, что он не откажется ни от какого дела, лишь бы оно содействовало расширению той «дыры к свету», о которой когда-то взывал Мюнцер. Да, нужно расширить эту дыру к свету, а как — пером или молотом, проповедью или топором плотника — не все

ли равно? Он был убежден, что горько ошибаются все, считающие, что к известной цели можно идти только одним каким-нибудь путем. Нужно только сознавать и верить, что каждый честный человек может и должен содействовать расширению этой дыры к свету, если он хочет сохранить спокойною свою совесть. На тропинке послышался шорох листьев. Егор Александрович поднял голову и увидал идущую к нему Марью Николаевну. Он изумился и обрадовался. Быстро поднявшись с места, он радостно протянул девушке обе руки. Она крепко сжала их.

— Не сердитесь, что я пришла сюда, — сказала она. — Я заходила к вашим. Узнала от Павлика, что вы прошли сюда. Захотелось проститься.

— Вы уезжаете? — быстро спросил он.

— Да.

— В Москву?

— Нет. Я еду в Петербург. Доучиваться хочу. Отец разрешил.

— А!

Он повеселел. Его лицо вспыхнуло румянцем. В его голове мелькала мысль, что он бу-

дет там видеть ее, не будет одиноким. Она была задумчива и серьезна.

— Я слышала, что вы тоже скоро уезжаете?

— Да, пора, Марья Николаевна.

Они сели. Прошла минута, молчания.

— Вам ничего не говорили у наших о том, что Поля уезжает в монастырь?

Она слегка покраснела.

— Да, говорили, — ответила она, и ее голос дрогнул. — Егор Александрович, неужели нельзя было отговорить?

— Зачем?

Она подняла на него вопросительный взгляд.

— Да, зачем? Между нами все порвалось, если что и было, — твердо ответил, он. — Это горькая история безобразного заблуждения и только. Не думайте, что я хочу оправдываться. У меня только одно оправдание: я не бог, не святой. Мне горько, что это кончилось вот этой искупительной жертвой, — он указал на могилу, — и необходимостью для нее идти в монастырь.

На минуту он смолк.

Потом он заговорил снова:

— Она перед богом каяться будет, и ее бог простит ее... Нам же всем перед народом нужно каяться... Простит ли он?

Он задумался и заговорил в раздумье:

— Тяжелые и в то же время хорошие дни прожил я здесь, хорошие потому, что я стал другим человеком, или, вернее сказать, хочу стать другим человеком, во что бы то ни стало... Сколько беспутного было во мне — это я понял только теперь... Вот хоть бы мои отношения к Поле... Мне скажут: это увлечение, ошибка молодости!.. А будь она не дочь народа, не простая девушка?.. Разве я поддался бы искушению, впал бы в ошибку?.. Нет, нет, тысячу раз нет!.. Побоялся бы ее братьев, родителей, родных... А если бы и сделал ошибку, то загладил бы ее тотчас же, без размышлений, без колебаний и... Другой исход был бы, не сидел бы я над этой могилой... Искупительная жертва!.. И сколько таких искупительных жертв приносим мы за наши проступки и ошибки, за наши отношения ко всем, кто народ...

Он замолчал на минуту, потом продолжал:

— Надо сделать все возможное, чтобы зтих

искупительных жертв, какого бы рода ни были они, не было по нашей вине... Помните, мы с вами как-то говорили о том, что мы не знаем, какой путь выбрать, что у нас нет веры в пользу какой-нибудь определенной деятельности, что наша жизнь пуста... Это безверие — проклятие нашего времени... Его даже утрируют, чтоб оправдать свою бездеятельность, свою дрянность, свою лень... Теперь даже говорят, что верят в свое дело у нас или глупцы, или грубые эгоисты: одни делают дело, не задумываясь о значении его, другие видят в нем личную выгоду и верят в него... Но пусть все это правда, пусть всю жизнь мы должны остаться Гамлетами, — у нас все-таки должна быть хоть одна вера, неотъемлемая вера — вера в то, что мы должны для общего блага следить за каждым своим шагом, за каждым своим поступком... От фарисейства, от двойственной нравственности — от нравственности для других и для себя — должны мы прежде всего освободиться; себя должны мы прежде всего исправить. Эту задачу должны мы проводить в жизни, проповедовать ее везде и всюду... В нее нельзя не верить. Я хочу

идти этим путем, я пойду им. Пусть будут говорить, что это преувеличения, что это экзальтация: что мне за дело! Лучше эта экзальтация, чем экзальтация бесшабашности и разнузданности, беспечального житья, циничной проповеди, что частная нравственность пустяки, что важна только великая общественная деятельность, что личная нравственность есть результат воспитания, житейских условий, среды, что сперва должен произойти какой-либо великий переворот в обществе, а уже тогда можно думать об исправлении своей нравственности... Это говорят те же нравственные взяточники, которые в былые времена оправдывались фразой: «У меня-с жена, дети...», «Все мы люди, все мы человеки...» Не верю я в пророков, едущих в экипажах, тратящих десятки тысяч на любовниц, проводящих жизнь в кабаках всех наименований! Не поверит им и народ, если даже и заслушается на минуту их проповедей... Народ шел за Христом, за Фомой Мюнцером, за Фридрихом Раппом... за Сютаевыми он пойдет... А в тех, кого он не будет уважать, верить он не станет!.. Вон отец Иван... Почему

ему верит народ? Почему к нему идут искать успокоения своей совести? Потому что он цельный человек: он проповедует то, что делает сам... Вы как-то заметили мне, что хорошо уже и то, что вы знаете, сколько Иванов и Сидоров пойдут по миру для доставления вам возможности бывать в итальянской опере. Я вам отвечу теперь на это: нужно не только сознавать это, но и не ездить в эту оперу, сознав это...

Он улыбнулся с горечью.

— Я знаю, какие крики подняли бы многие люди, услышав это: «Как, вы хотите уничтожить театры, искусство, плоды цивилизации?..» «Да, да я готов бы уничтожить даже все это, если бы этим неизбежно могли наслаждаться только сотни людей, грабя для этого миллионы людей... К счастью, не уничтожение всего этого нужно, а нужно уничтожение тех способов, какими наслаждаются всем этим люди теперь. Современная жизнь сложилась именно так, что человек грабит и душил ближних, а спросите: „Для чего?“ Для того, чтоб непременно иметь рысаков, дорого стоящих, хотя бы и надоевших ему любовниц,

блестящую обстановку, возможность наслаждаться искусством во всех его видах, под одним только условием, чтобы оно стоило дорого. Этот разбой и грабительство, производимые будто бы для поддержания искусства и наслаждения плодами цивилизации, — вот что претит мне. Удерживаться от этого, не продавать своей совести ради этого, не считать это целью жизни — вот чего я хочу. Я знаю, меня могут назвать чудачком, сумасбродом, фанатиком, аскетом. Пусть! Но мне никто не бросит укора, что я украл у него последний грош, снял с него последнюю рубашку, чтобы потешить себя награбленной роскошью среди голодных... Я знаю, что при таком образе жизни краснеть придется не мне.

Он сдвинул брови. Его лицо приняло сосредоточенное, суровое выражение.

— Вот та вера, которую проникнут я теперь весь, и если она обманет меня, если я почувствую разлад в себе между словом и делом, я сам прикончу с собой, как с собакой. Без этой веры, без веры в возможность жить так, как я желал бы, чтобы жили другие, нельзя искренно верить ни во что. Верить,

что все пойдет лучше от изменения среды, от изменения условий, от непредвидимых и роковых исторических случайностей, это... для этого достаточно сидеть сложа руки и ждать, когда придут эти случайности сами... Нет, мне кажется, что против воров и грабителей, против угнетателей и кровопийц может восставать честно и деятельно только тот, кто сознал в самом себе силы не быть таким. Кто не верит, что он сам может не быть таким, как он может верить, что какие-то обстоятельства, среда, условия помогут другим не быть такими?

Он вдруг еще более оживился, как бы что-то вспомнив.

— Но не думайте, что за делом личного самоусовершенствования я забуду все другое, что я требую от человека только этого. Нет, нет, тысячу раз нет! Самовоспитание, самоусовершенствование, наблюдение за каждым своим шагом, отдавание себе строгого отчета в своих проступках, все это не требует времени или, вернее сказать, не отнимает времени от другого дела на пользу общества. Напротив того, иная жизнь, жизнь безотчетного плава-

ния по течению, поглощает гораздо более времени. Сегодня попойка, завтра бал, там картежная игра, далее милые любовницы, вот что поглощает и деньги и время, здоровье и спокойствие души. По-видимому, все, что я говорю, не требует ни подтверждений, ни доказательств. А между тем вся жизнь слагается в современном обществе как раз наоборот, как раз в противоположном направлении. Против этого можно, пожалуй, ораторствовать, но беда попробовать практически протестовать против этого, такой протест — это уже сумасбродство, чудачество, чуть ли не помешательство... А между тем нам уже потому нужно подтянуть себя, приготовить себя, что мы живем накануне чего-то нового. Я глубоко верю в это и думаю, что горе тому, кто забыл притчу о девах со светильниками... Да, плохо приходится тем, кого великие события застают с угаснувшими светильниками... Мне, может быть, скажут, что я ошибаюсь. Может быть! Но, во всяком случае, я ошибаюсь не один, а с значительными массами народа, недаром наполняющего ряды штундистов, этих представителей новой нравственности,

нового строя жизни... Да, народ в своем стремлении к чему-то новому, лучшему, прежде всего дает обет нравственного обновления...

Он поднял разгоревшиеся глаза на Марию Николаевну. Ее лицо было оживленно, глаза пристально устремлены на Мухортова. Ей казалось, что перед ней стоит новый человек, весь проникнутый страстной верой в то, что он говорит, беззаветно увлекающийся и способный увлекать других. Он улыбнулся ласковой, мягкой улыбкой.

— Не удивляйтесь, что я увлекся, — сказал он, протягивая ей руки. — Я так долго, долго молчал...

— О, я рада... мне... вы мне раскрыли свою душу, — в замешательстве и смущении проговорила она взволнованным голосом.

— И вы-то, вы не назовете меня сумасбродом, когда...

— Егор Александрович! — воскликнула она в увлечении. — Вы для меня...

Она оборвала речь и поднялась с места. Он тоже поднялся и притянул ее к себе, заглядывая ей в глаза. Она подняла на него бесконеч-

но добрые, ласкающие глаза.

— Милый, только не здесь, не теперь...

Он как бы очнулся.

— Да, да, это правда: не в этом месте смерти, не над этой могилой нежившего ребенка, не накануне погребения заживо его матери говорить о любви...

И, переменяя тон, тихо добавил:

— Но ты веришь в мои силы, в меня?

— О, я за тобой пойду повсюду! — страстно ответила она.

Он крепко сжал руки Протасовой и рядом с нею безмолвно направился к выходу...

Они оба глубоко верили друг в друга. Они не сомневались, что они пойдут рука с рукой до конца жизни. А какова будет эта жизнь?

Кругом них были убогие могилы нищих тружеников. Над ними, точно железные решетки тюрьмы, сплетались сводом черные, голые ветви деревьев. На западе собирались темные, густые снежные тучи и, как зарево пожара или море крови, разливало багровый блеск заходящее солнце. Что-то зловещее было во всем, в мертвящей тишине, в резком холоде, в безлюдье. Но они были молоды, они

любили. Чего же им было бояться?

1883

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые — «Живописное обозрение», 1883, No№ 48–52 (с 22 октября по 24 декабря), с подписью: А. Михайлов.

С. 298. Содом и Гомор — здесь: беспорядок, суматоха. Седом и Гоморра — древние города Палестины, по преданию разрушенные землетрясением за грехи их жителей.

С. 300. Бокль Генрих Томас (1821–1862) — англ. социолог, автор известной «Истории цивилизации в Англии» (1857–1861).

С. 302. Иеремиада — жалоба, сетование — от имени пророка Иеремии, плакавшего, согласно библейской легенде, по поводу разрушения Иерусалима.

С. 308. «Марьяж» — брак (от франц. mariage).

С. 814...езде у них Калифорния под руками. — Открытие золота в 1848 году в одном из юго-западных штатов Америки, Калифорнии, вызвало золотую лихорадку. «Калифорния» стало нарицательным словом и обозначало место, куда устремлялись люди в поисках личной наживы.

С. 315. Кукшина — действующее лицо романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

С. 316. — Помните у Гейне:

*Как несет чесноком от графики
От m-me la comtesse Gouldefeld. —*

Цитата из стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне (1797–1856) «Тщеславие» из цикла «Ollea», вошедшего в 3-е издание «Новых стихотворений» (1844). Перевод А. Н. Плещеева.

С. 332...читал мальчику не одни какие-нибудь сказки Перро или Робинзона, а познакомил его и с «Королем Лиром», и с «Макбетом», и с «Дон-Кихотом», и с «Разбойниками». — Перро Шарль (1628–1703), французский писатель, завоевавший мировую известность своими волшебными сказками. Многие из них: «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мальчик с пальчик» — были широко известны в России. «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (1719) — роман английского писателя Даниэля Дефо (ок. 1660–1731); «Приключения гидадьго Дон-Кихота из Ламанча» (1605–1615) —

роман испанского писателя Мигеля де Сааведра Сервантеса (1547–1616); «Король Лир» (1605), «Макбет» (1605) — драмы Вильяма Шекспира (1564–1616); «Разбойники» (1781) — драма Фридриха Шиллера (1759–1805).

С. 340... «со времен очаковских и покоренья Крыма». — Слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), действие II, явление 5.

С. 341...времен Александра Благословенного... — Александра I (1777–1825).

С. 343. Разговор коснулся наполеоновских войн и численности его армии в сражении под Эйлау.- 7–8 февраля 1807 г. в Восточной Пруссии у г. Прейсиш-Эйлау произошло сражение между русской армией генерала Л. Л. Беннигсена и войсками Наполеона. Все атаки Наполеона были отбиты, однако из-за недостатка оружия и продовольствия Беннигсен вынужден был отступить. Обе стороны потеряли в сражении около 25–30 тысяч человек, и каждая приписывала победу себе.

С. 362. Ландскнехт — азартная карточная игра.

С. 373. Реприманд — упрек, выговор (от

франц. *réprimande*).

С. 378. Санкюлоты — презрительное прозвище, данное аристократами республиканцам во время Французской революции 1789 года.

С. 382. Теньер — Тенирс (Teniers) Давид Младший (1610–1690) — фламандский художник, известный своими пейзажами и бытовыми картинками на занимательные сюжеты.

С. 387...грубая, точно обтянутая опойком... — Опоек — кожа, отличающаяся мягкостью, эластичностью и в то же время крепостью.

С. 388. «От ликующих, праздно болтающих...» — строки из поэмы Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

С. 391. «Преступление и наказание» — роман (1866) Ф. М. Достоевского.

С. 394...после чтения Вертера... — Имеется в виду роман Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

...великая жертва, принесенная Лукрецией, покончившей с собою, чтобы возбудить к мщению сограждан. — По преданию, римская аристократка Лукреция, обесчещенная сыном

царя Тарквиния Гордого, лишила себя жизни. Считалось, что это событие, а также необыкновенная жестокость Тарквиния послужили причиной восстания (509 до н. э.) и изгнания его из Рима.

С. 399...не разрубив разом гордиева узла долгов... — Гордиев узел — запутанное сплетение различных сложных обстоятельств. Разрубить гордиев узел — разрешить разом все затруднения. По преданию, Александр Македонский рассек мечом узел, завязанный фригийским царем Гордием.

С. 402. Зола — Эмиль Золя (1840–1902) — французский писатель, теоретик и глава натурализма.

С. 412...он перешел к вопросам о Гамлете и Дон-Кихоте после прочтения статьи Тургенева... — Имеется в виду статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», опубликованная в «Современнике» в 1860 году (кн. 1, с. 239–258). Тургенев, которого занимала в то время проблема положительного героя, по-новому трактует эти два известных литературных образа. Дон-Кихот, по его мнению, выражает веру в идеал и является носителем передовой

идеологии борца, противодействующего всему, что враждебно человеку. «Дон-Кихот — энтузиаст, служитель идеи, и потому обвеян ее сиянием...» Гамлет же «весь живет для самого себя, он эгоист... Гамлеты точно бесполезны массе», они ей ничего не дают, они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут. Без Дон-Кихотов же, «без этих смешных чудаков-изобретателей не подвигалось бы вперед человечество и не над чем было бы размышлять Гамлетам».

С. 413. «Поездка в Полесье» (1857) И. С. Тургенева первоначально была задумана как охотничий очерк и лишь впоследствии вылилась в самостоятельную повесть. Она посвящена вопросу об отношении человека к природе.

...холодный... взгляд вечной Изиды... — Изида, или Исида, — древнеегипетская богиня — покровительница гор, славящаяся своей мудростью. Изображалась в виде женщины с рогами коровы.

С. 414...разных ирвингианцев, пашковцев, умных или глупых искателей духовной пищи... — Ирвингианство — мистическая секта,

основателем которой был лондонский проповедник Эд. Ирвинг (1792–1834). Пашковцы — последователи религиозной секты, возникшей в 1874 году и названной по имени ее основателя, полковника В. А. Пашкова (1831–1902), высланного из России за религиозную пропаганду.

С. 421. Трапписты — католический монашеский орден, устав которого отличался особой строгостью. Назван по имени своего первого монастыря в Норвегии, расположенного в ущелье — Трарре.

С. 423. Иуда — апостол, предавший, согласно евангельской легенде, своего учителя Иисуса Христа.

С. 427...взял «Историю крестьянских войн» Циммермана. — Циммерман Вильгельм (1807–1878) — немецкий историк и поэт. Его основной труд — «История великой крестьянской войны» и 3-х т., 1840–1844. На русский язык переведено 2-е издание (в одном томе) под ред. Блосса, 1856 г.

Светлый образ Фомы Мюнцера... — Мюнцер Томас (1490 или 93-1525) — вождь революционной крестьянской партии во время кре-

стьянской войны в Германии (1525). Проповедовал идеи уравнительного утопического социализма. Скитался по городам и деревням, выступал с проповедями, призывал к вооруженному выступлению против католической церкви, «Подобно тому, как религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму, его политическая программа была близка к коммунизму... Под царством Божиим Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 371). Мюнцер создал тайный союз для борьбы с князьями. В 1525 г. возглавил крестьянское восстание под Франкенгаузенем, но был разбит, взят в плен и казнен.

С. 429. Карлштадт Андрей Рудольф Боденштейн (1480–1541), борец германской реформации — движения, направленного против католической церкви. Сначала был противником Лютера, потом перешел на его сторону. После долгих скитаний пришел в Швейца-

рию, где стал священником в Цюрихе и профессором в Базеле.

Лютер Мартин (1483–1546) — нем. религиозный реформатор, основатель лютеранства в Германии. Выступал против догматов католической церкви. Его известные 95 тезисов стали знаменем революционной борьбы. Однако после крестьянской войны Лютер перешел на сторону княжеской реакции.

Башибузук — отчаянный человек, разбойник.

Савонаролла Джироламо (1452–1498) — итал. проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции, монах.

С. 435. Жантильничать — жеманиться, кокетничать.

С. 436. Моветон (от фр. mauvais ton) — дурной тон, невоспитанность.

С. 477. Народ шел за Христом, за Фомой Мюнцером, за Фридрихом Раппом... за Сютаевым он пойдет... — Рапп — возможно, Шеллер-Михайлов имел в виду Георга Раппа (1757–1847) — основателя религиозной общины гармонистов (гармонитов) в Америке. Сютаев Василий Кириллович (1819–1892) —

крестьянин Тверской губернии, основатель религиозно-нравственного учения «непротивленчества и нравственного самоусовершенствования»; знакомый Л. Н. Толстого.

С. 479. Штундисты — последователи штундизма — религиозной секты в России, выражающей интересы кулацких слоев крестьянства.

Примечания

1

Это плохо воспитанная девочка (фр.).

[^^^]

наедине (фр.).

[^^^]

3

здравствуйте, здравствуйте! (от фр. bonjour).

[^^^]

милый дядя Жак! (фр.).

[^^^]

сестра моя (фр.).

[^^^]

сестра моя (фр.).

[^^^]

меблированные комнаты (фр.).

[^^^]